

МАРКОВ Е. Л.

В ТУРКМЕНИИ

(ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ.)

I.

На Каспии.

Мы должны были отплыть в Узун-Ада на почтовом пароходе общества Кавказ и Меркурий Князь Барятинский. Пароход отходил в 7 часов вечера, и мы, с помощью носильщиков Персов и извозчиков Татар, перекочевали на пароход еще совсем засветло.

Пристань общества Кавказ и Меркурий — самал обширная из всех пристаней Баку; пароходы подходят к ней вплотную, так что избегается всегда неприятный переезд по морю на яликах. Вообще это общество стоит бесспорно в главе Каспийского и Волжского пароходства по числу и удобству своих пароходов, по точности своих рейсов. Правительство заключило контракт с этим обществом на содержание почтового сообщения по всем линиям Каспийского моря и Волги, так что общество это является своего рода привилегированным и, так сказать, полуофициальным.

Мы с женой стояли на палубе и любовались незаметно отодвигавшимся от нас городом. Южная ночь падала непривычно быстро для северного глаза, и весь берег начинал мигать, будто роями светящихся мошек, бесчисленными огоньками. Особенно густо переливали эти огни в поясе заводов, тесною толпой охвативших берег справа, и целиком отражавшихся [479] вместе со всеми этими мириадами трепещущих огоньков в темных омутах моря. «Черный Городок» превратился в настоящий огненный город. С пристани Нобелевского завода долго впивалась в нас, будто глаз циклопа, преследующий беглецов, яркая звезда электрического фонаря, то нервно вспыхивавшая лихорадочным синевато белым светом, то вдруг хмурившаяся чуть не до слепоты...

Красноватый огонь маяка, зажженный высоко на Девичьей Башне, казался, сравнительно с этим бесплотным светом, каким-то тусклым масляным ночником. Все короче собираются в кучу огни берега, все виднее и шире выступают темные очертания Апшеронского полуострова на севере и гористые мысы на юге от исчезающего города.

Мы покидаем этот глубоко азиатский берег Кавказа, издревле залитый волной Персидского населения и магометанской цивилизации, так резко непохожий своими безжизненными желтыми холмами на цветущие природные сады Сухумского и Батумского побережья Кавказа, всегда широко открытого народам Европы, старинного обиталища Эллина, Римлянина, Итальянца...

Мы покидаем Баку, этот недавно еще пустынный городишко на пустынных берегах пустынного моря, одиноко хранивший в себе с седой древности мрачный культ подземного огня...

Еще в молодости моей Баку только и знали по его оригинальному храму огнепоклонников...

Теперь этот храм покинут, и жрецы его рассеялись по лицу земному. Теперь он не нужен больше и больше не интересен.

И в самом деле, что значил бы этот жалкий крошечный храмик с его пятью, шестью дырочками земными теперь, когда весь город Баку, вся его многоверстная окрестность, и даже те города, которые имеют дело с ним, и Батум, и Астрахань, и Царицын, — все обратилось в один громадный храм подземного огня, а тысячи жителей их в страстных огнепоклонников, фанатических жрецов огненного культа, живущих этим даровым священным пламенем, черпающих в этих бесчисленных отверстиях земных свое счастье и [480] силу... Это уже не те наивные и не практические жрецы, что двигались здесь когда-то, полуголые, иссохшие, как скелеты, бесплодно оберегая бесплодные сокровища Плутона, а ловкие житейские мудрецы, сумевшие разрешить некогда неразрешимую задачу алхимиком и превратившие огонь в золото...

Таким смелым наследникам поневоле уступили свое место скромные ветхозаветные жрецы огни...

Вот мы прошли остров Наргин с вращающимися огнями маяка, прошли еще несколько островов и очутились уже совсем в открытом море. Берега Кавказа только чувятся в туманах ночи, среди которых не перестает глядеть на нас далекий глаз Апшеронского маяка.

Публика не уходит с палубы. Ночь тихая и ясная, море хотя и несется на встречу суровою неохватною рябью, но не тряхнет, не качнет парохода. Месяц красиво серебрит всю эту широко движущуюся, искрящуюся тьмой и светом, черно-синюю чешую чудовища-моря.

Нас всех развлекают теперь встречи пароходов и кораблей. Вот впереди, как раз у носа, сверкнул вдали огонек: звонки, вахта бросается к своим местам, разлазается команда капитана держать румб направо, налево, и не успеешь оглянуться, как черный колосс, скрипя мачтами, пыхтя черными трубами, обвешанный красными и белыми фонарями, проносится мимо, резко вырисовываясь силуэтами своих снастей на освещенном небе.

А то вдруг затемнеет вдали, среди пустыни вод, громоздкий, как башня, весь до макушки униженный парусами, идущий по ветру корабль... И все ждут его, все провожают его глазами, пока он не затушется тенями ночи, и стараются угадать, откуда он, и чей, и зачем идет.

И всех изумляет эта непостижимая точность, с которою моряки направляют свои суда среди безбрежного движущегося моря по одной и той же линии, словно по большой дороге, окопанной рвами и обсаженной деревьями.

А луна между тем поднимается все выше и разгорается все ярче. Мы теперь прямо бежим на нее. Туманы моря и туманы неба слились впереди, под самую грудь парохода, в одну [481] серебристую бездну, пропитанную лучами месяца, — и на этом фантастическом фоне вырезаются черные силуэты труб парохода и обвешанных реями мачт...

Чудится, будто могучий пароход неудержимо стремится в какую-то сотканную из света сказочную пустоту...

Утро такое же чудное, как и ночь. С высоты своей рубки я оглядываю публику 3-го класса, уютно разместившуюся на палубе. Тут «такая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» Интереснее всех для меня Персы. Вон один какого-то темножелтого, как имбирь, цвета, с бородкой тщательно раскрашенною, тщательно подрезанною кругло, как тарелка, полулежит на многом множестве опрятных подушек, тюфячков, одеял и ковриков, как всегда любят покояться Персы и Турки даже во время своих переездов. Пред ним сидят кружком 5 или 6 его жен с лицами, затянутыми наглухо белым полотном, и среди них хорошенький глазатый юноша лет 14-15. Старый Перс недовольно хмурится на мои пристально устремленные взоры и поминутно ревниво оглядывается на свои походный сераль.

Но и у нас в кают-компании не без оригинальных спутников. Мы знакомимся за утренним кофе с очень скромным и любезным Американцем из Чикого — мистером Крэном, членом Русского Географического Общества, уже совершившим три путешествия по России и имеющим рекомендательное письмо в Асхабад к генералу Куропаткину от нашего известного географа П. И. Семенова, вице-президента Географического Общества. Это наш будущий спутник, потому что ему нужно проехать почти во все места, куда собираемся мы. Американца сопровождает толмач довольно необычного типа: Грузин в черкеске с патронами, в кинжалах и насечках. Он говорит по-татарски, по-грузински, по-французски, по-русски и, кажется, еще по-

армянски. Рядом с Американцем сидит за нашим столом самый доморощенный рассейский субъект, составляющий презабавную художественную противоположность сосредоточенному Янки. Это старичок чиновник, весь уже сморщенный в фигу, страдающий в Узун-Ада в роли какого то начальства, и по свойству нашего брата [482] Русского изливающий все свои мнимые и истинные скорби всем, кому это интересно и не интересно слушать. В то время, как юный потомок Вашингтона кажется преисполненным безмолвно-непоколебимой веры в себя и не смущается ничем ему предстоящим в неведомых странах, этот нервный сын Руси все время причитывает, как ворчливая старуха, и на все кругом в настоящем и будущем смотрит с абсолютно безнадежностью. Нигде тут нельзя жить, ничего тут не может выйти ни из чего, все делается не так, все ни к чему негодны. И во всем, конечно, виновата казна. Казна не отпускает того, не устраивает этого. Казна-нянька, без которой шага не может сделать этот бородатый, седой ребенок, которая за него живет и думает, и на которую он, понятно, должен постоянно ворчать и сердиться...

С людьми видишься слишком часто, чаще, чем хочешь, а с морем слишком редко. Поэтому я все больше уходил от людей к морю и забравшись куда-нибудь повыше, старался подольше оставаться наедине с ним... Море — это что-то такое огромное, живое, сильное, что от него не оторвешься, с ним не наскучит целыми часами. А Каспийское море мне хотелось видеть особенно давно. В нем есть оригинальность, делающая его исключением из всех морей. Во всяком случае, это море вовсе не шуточное, вовсе не озеро. На нем точно также едете целыми днями, не видя берегов, на нем такие же бури, поглощающие корабли, на нем вся красота и весь ужас неохватной водной бездны. Но Каспийское море мне было дорого еще, как Русскому, как любителю поэтической русской старины. Я не сомневаюсь, что эта громадная чаша под еще в доисторические времена служила русскому человеку школой его мореплавания, его торговли, его набегов. Родившаяся на односторонней почве Византийских хроник и воспитанная односторонне-тенденциозными взглядами немецкой исторической науки, русская история только в последнее время начинает, и то еще крайне несмело, оглядываться беспристрастно на саму себя и черпать все более и более сведений о древних эпохах русской народной жизни в богатом запасе сочинений арабских и других восточных писателей, народы которых имели [483] с древними Руссами гораздо более тесного общения, чем горделивые западные соседи наши.

Из их единодушных свидетельств мы давно убедились, что Руссы были Руссами за многие века до того, когда, по немецкой выдумке, их окрестили этим именем шведские Немцы, что русская смелая торговля, русская беззаветная храбрость наполняли собою далекие уголки Азии, задолго до подвигов навязанных нам Немцами Норманн, служа деятельными посредниками между Европой и богатствами Востока.

На древнем Балтийском поморье, где когда-то блистали своею торговлей славянские города Волин, Щетин, Староград, Любек, онемеченные потом германским насилием, не даром находят до сих пор множество арабских дирхем VIII и VII веков, притекавших туда именно путем Каспийской торговли через Волгу с ее волоками.

«Что касается до русских купцов, принадлежащих к Славянам (), пишет, например, Ибн Хордадбех в половине девятого столетия, «то они из отдаленнейших стран славянских привозят бобровые меха, меха черных лисиц и мечи к берегу Румского (то есть Черного) моря, где они дают 1/10 Византийскому императору. Иногда они на кораблях ходят по реке Славян (то есть Волге) и проезжают по заливу Хозарской столицы (Итиля), где они платят 1/10 царю страны. Оттуда отправляются они в Каспийское море и выходят на берег, где им угодно. Иногда они возят свой товар на верблюдах до Багдада».

Другой арабский писатель Ибн Даста в начале X века пишет:

«Все из Руссов, живущих по обоим берегам Волги, везут к Болгарам товары свои, как-то: меха соболя, горностаевые, беличьи и др.».

В VIII столетии не только Багдад, но и вся Средняя Азия ведет с Волгой торговлю на звонкую монету мехами, и особенно черною лисицей, считавшеюся в Азии царским мехом, — и поставщиками этих мехов являются Руссы.

«Руссы и еще другие Славяне», пишет в том же X веке Массуди, «имели в Итиле (близь устья Волги) постоянные жилища в одной части города, где жили купцы, и имели особого судью из своей среды».

«Руссы состоят из многих народностей разного рода», [484] объясняет он далее. «Самое многочисленное племя их Эль-Лудз'ана (Лютичи, Лужичане), торгуют с Испанией, Римом, Константинополем и Хозарией».

Арабский географ того же века Эль-Болхи дополняет о Руси следующие сведения:

«Русь состоит из трех племен: одно ближайшее к Болгару, и царь их живет в столице по имени Куяба (Киев); город больше Болгар. Второе, отдаленное от них племя, называется Селавия (то есть Славин, Словене, как назывались Новгородцы). Третье племя называлось Бармания (вероятно, Биармия, Пермь)».

Все эти отрывочные сказания Арабов убеждают нас в одном, что Русское славянство было известно Азиатскому Востоку гораздо ранее, чем начинается, так сказать, официальная история Русского народа, и притом известно лицом к лицу, как близкие соседи, постоянно торговавшие и воевавшие с ним, что славянство это к началу русской истории уже крепко утвердилось по берегам великой Славянской реки и пользовалось Каспийским морем, как обычным путем для сношений с разными странами Азии. Самое имя Волга, которое многие стараются произвести от разных чуждых нам корней, блистательно доказывает, что эта река была издревле главною торговою артерией Русского славянства, главною «водой» его. Волга, я убежден, есть простое и всем понятное русское слово. Это «влага» в полнозвучной форме своей «волога», как «злато», «град», «млеко» имеют полнозвучные формы «золото», «город», «молоко». В имени города Вологды полнозвучие это сохранилось. В простом народе сохранилось до сих пор и всякое другое

употребление полноразличной формы «вологи». Так, например, в Курской и во многих других губерниях народ постоянно применяет глагол «волгнуть», «отволгнуть» в смысле напиться влагой, отсыреть, так же как прилагательные и наречия, производные от этих глаголов: волжанный, то есть сырой, влажный, волжано, волжане: есть даже растение волжанчик, растущее по болотам и отличающееся гибкостью, вследствие обилия влаги внутри его.

Интересен рассказ арабских писателей о старинных походах Руссов в Каспийское море. Имам Абдуль-Хасан-Али. известный под более коротким именем Ибн-Масуди, в [485] своих «Золотых Лучах» так передает случившееся в его время (около 912 г.) событие это:

«Приплыв на судах своих к Хозарским караулам, расставленным при устье пролива, Руссы послали к царю Хозарскому просить позволения пройти через его владения и рекой Волгой спуститься в море Хозарское, обещая ему за это половину добычи, которую возьмут от народов, обитающих у сего моря».

Въехав из Дона в Волгу, они проехали ею до Итиля.

«От него по течению этой реки достигли до самого устья, где она впадает в море Хозарское. От устья своего до города Итиля река очень велика и полноводна. Отсюда Руссы рассыпались по морю в разные стороны, выходя на берег толпами в Джиле (то есть Гиляне), Дейлеме, Табаристане, Абисскуне и Нефтяной Земле, до самой области Азербайджанской.

Руссы везде проливали кровь, уводили в плен женщин и детей, расхищали богатство, производили набеги и предавали все огню и опустошению.

Все народы, обитавшие около сего моря, возопили о помощи, ибо с незапамятных времен не видавали никакого врага, который бы нападал на них с моря, где доселе плавали только суда купцов и рыболовов.

Доходили до Нефтяного берега, находящегося в области ширванской и известной под именем Баку. Удаляясь об берегов после набегов своих, Руссы обыкновенно искали убежища на островах, отстоявших на несколько миль от Нефтяной земли».

Таким образом, в Баку мы, Русские, старые гости и даже старые господа. На тех самых островах Наргин, Дуванкой и Буле, мимо которых я только что проплыл, была обычная военная стоянка наших храбрецов-предков, хозяйничавших по Каспийскому побережью. Очевидно, что и нефть была давно уже не новостью для смелых посетителей Нефтяного берега. Не этими ли посещениями древних Руссов следует себе объяснить странное известие Адама Бременского, подавшее повод к стольким нелепым толкованиям о том, что в славянском Воине при устье Одера есть какой-то греческий огонь: «ibi est olla vulcani, quod incolae

graecum vocant ignem». Простой привоз Русскими в Балтику Бакинской нефти [486] разрешил бы вполне удовлетворительно все ученые гипотезы об этом «Вулкановом горшке».

Хозары коварно истребили обремененных добычей русских смельчаков, возвращавшихся с Каспия в Волгу, и трудно сомневаться, что последовавший скоро вслед затем разгром, который Святослав нанес Хозарскому царству, был именно торжественным актом кровавой мести за погибших отцов и братьев.

Очень может быть, что и второй поход Руссов в Каспий, о котором память сохранилась в сочинениях арабских писателей X века, был продолжением того же Святославова похода.

Абульфёда в своих «мусульманских летописях» говорит о нем кратко:

«В таком-то году Геджры (по нашему 943) одно из поколений Руссов, приплыв на кораблях из страны своей по морю Каспийскому и реке Куру, проникло до самого города Бердан; овладев им, Руссы предались убийству и грабежу и, наконец, прежним путем возвратились восвояси».

Но другой арабский писатель того времени Ибн-эль-Эсир, уважаемый на Востоке наравне с Масуди, сохранил подробное описание этого пребывания древних Руссов в теперешнем Закавказьи.

«В 943 году», говорит он, «снова увидели Руссов в Хозарском море. Они поднялись вверх по реке Куру и внезапно появились пред Бердаю, столицей Аррана, отстоящею около трех фарсангов к югу от сей реки». Сокрушив все, Русские долго оставались в забранном городе, знаменитом тогда богатством и торговлей (теперь маленькая деревня Берде) и все усилия выбить их оттуда были напрасны. Страх туземцев пред Руссами был так велик, что войска отказывались сражаться против них. Когда, наконец, среди Руссов развилась зараза, может быть, от излишнего употребления южных плодов, и они добровольно покинули город, унося лучшую добычу, то опять-таки никто не осмеливался преследовать их, и они спокойно сели на свои суда».

Этот поход произвел такое потрясающее впечатление на воображение жителей Каспия, что впоследствии одним из уроженцев Ганжи (Елизаветполя), известным персидским поэтом Кизами, был написан целый фантастический роман на тему взятия Бердаи, которую защищал против ужасных Руссов [487] никто иной, конечно, как сам Александр Великий, любимый герой Востока. Поэма так и называется Искандер-Камэ. Там, между прочим, говорится: «браннолюбивые Руссы, являсь из земель Греков и Алан, напали на нас ночью, как град», «возобновив в стране нашей древнюю вражду свою». Из этого видно, что поход Руссов на Бердаю в X веке считался туземцами только повторением частых прежних набегов.

Однако немецкие историки, и в виду таких красноречивых свидетельств восточных современников, не соглашались признать за древними Руссами самостоятельной славы смелых воинов и предприимчивых

торговцев. Никаких подвигов они не могли, разумеется, совершать без руководства Немца, а о присутствии Немца на Каспии в IX и X веках арабские писатели, к сожалению, не говорят ничего.

Ergo, все это вымысел восточной фантазии, перепутавшей, наверное, баснословные рассказы о Бердае и Хозарах с походом Игоря на Константинополь! Вы думаете, что я шучу, читатель, а Немец Эрдман пресерьезно учит нас этому и не приказывает верить никаким Массуди и Абульфедам, хотя бы они и были чуть не очевидцами событий.

Но, к счастью, Русский народ сохранял в своей живой памяти свои веками налаженные торговые и военные пути и настойчиво продолжал стремиться к ним, пока необоримая сила не задвинула ему путей в эту самую Азию. Вместо потрясенного Святославом Хозарского и Болгарского царства залегла по великой славянской реке, по древнему Хвалынскому морю, победоносная татарская орда, полонившая чуть не целую Азию, чуть не половину Европы. Только справившись с нею в смертельной двухвековой борьбе, Россия могла вновь подумать о старых путях по Волге и Каспию, и Стенька Разин явился одним из первых продолжателей древней русской удали на волнах Каспия. Со своими ничтожными разбойничьими силами он долго царил на южном побережье Хвалынского моря, сноился с шахом персидским, как равный с равным, воевал с ним и мирился, громил его крепости, отнимал у него целые области и увозил на родимую Волгу награбленные персидские сокровища.

Орлиный глаз Петра, величайшего хозяина России, и самого русского из русских людей, несмотря на его голландские и шведские подражания, не мог, конечно, упустить из вида Каспия, [488] этих естественных ворот к богатствам Востока. Прорубя на Балтике окно в Европу, укрепляясь железом и кровью при устье Невы, Петр уже рыл каналы для соединения Балтики с Каспием, и понимал лучше, чем мы теперь это понимаем, что бедный народ Русский может стать богатым, только сделавшись постоянным посредником между торговлей Европы и богатством Азии. Еще во время бесконечной Северной войны, надрывавшей силы России, он уже задался решительной задачей овладеть всеми берегами Каспия, и ждал только развязки со Шведами, чтобы заняться Персией. Он приказывал своему талантливому сотруднику Артемию Волынскому, тогдашнему послу в Персии:

«Едучи по владениям шаха персидского, как морем, так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения, и положения мест, и какие, где в Каспийское море реки большие впадают, и до которых мест по оным рекам можно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая бы впадала в сие море... присматривать прилежно». «Смотреть, каким способом в тех местах купечество российских подданных размножить и нельзя бы через Персию учинить купечество в Индию? Склонять шаха, чтобы повелено было Армянам весь свой торг шелком-сырцом обратить проездом (то есть транзитом) в Российское государство, предъявляя удобство водяного пути до самого Петербурга вместо того, что они принуждены возить свои товары в турецкие области на верблюдах».

В Астрахани потихоньку изготовлялись, по повелению царя и по совету дальновидного Волынского, морские суда, орудия, съестные припасы, и, наконец, в 1722 году, сейчас после Ништадтского мира, Петр поплыл по Волге в Астрахань и, став во главе войска, лично повел его на берега Кавказа. Тарки, древний Семендер,

некогда столица Хозарского царства, и Дербент, «ворота света», — открыли ему свои ворота. Шипов на кораблях занял Рящ, Матюшкин Баку, а по договору 12 сентября 1723 года все почти побережье Каспия, кроме Шемахи, в том числе теперешние Персидские области Гилян, Мазандаран, Астрабад, вместе с Дербентом и Баку, были формально уступлены России.

Петр придавал огромное значение этому приобретению, и посол его Неплюев прямо объявил Порте Оттоманской, [489] негодовавшей на действия России: «Император мой не допустит к Каспийскому морю никакой другой державы, особенно Турции».

Англия, всегда ревниво следившая за развитием русского могущества, уже тогда поняла великое значение Каспия для экономической будущности Русского государства, и делала все возможное, чтобы побудить Турцию объявить за это войну России.

«Русский государь хочет овладеть не только персидскою, но и всею восточною торговлей», внушал Порте тогдашний английский посланник, «вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию, и тогда Англичане и другие Европейцы выедут из Турции, к великому ущербу казны султановой. Поэтому Порта должна оружием остановить успех Русских на Востоке, и если Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского».

Политика Англии относительно России 170 лет тому назад, как видно, была та же, что и теперь, и ее во всяком случае нельзя назвать близорукою.

А взгляды Петра были еще шире, еще дальше. Он уже задумывал присоединение к России христианских земель Армении и Грузии, которых представители давно умоляли его о защите против мусульман, он уже бросал свои смелые взоры к Аму-Дарье и Индии.

Румянцеву, посланному им через Кавказ в Стамбул, он поручал: «смотреть накрепко местоположения, а именно от Баки до Грузии, какая дорога, сколь долго можно с войском идти, и можно ль фураж иметь, и на сколько лошадей, и путь каков для войска. Курой рекой возможно ль до Грузии идти судами хотя малыми. Состояние и силу Грузинцев и Армян».

Петр слышал о том, что река Аму-Дарья впадала когда-то устьем в Каспийское море, и его могучая воля не останавливалась даже пред колоссальною задачей — повернуть опять в Каспий русло великой реки, чтобы создать таким образом прямой путь к пределам Индии.

В собственноручной инструкции его Бековичу-Черкасскому, посланному к хану Хивинскому, Петр ставит между прочим следующие пункты, поражающие своею глубокою дальновидностью и гениальною смелостью:

«1. Надлежит над Гаваном, где было устье Аму-Дарьи реки, [490] построить крепость человек на 1.000, о чем просил и посол Хивинский.

2. ехать к хану Хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть. прилежно течение оной реки, також и плотины, ежели возможно оную воду паки обратить в старый пас; к тому ж прочие устья запереть, которые идут в Аральское море, и сколько к той работе потребно людей.

7. Также просить у хана Хивинского судов, и на них отпустить купчину по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут итти, и оттоль ехал бы в Индию, примечая реки и озера, и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной к Индии теми или другими реками, и возвратиться из Индии тем же путем, или ежели услышит в Индии еще лучший путь к Каспийскому морю, то оным возвратиться и описать».

Сыр-Дарья тоже останавливает на себе его всеобъемлющее внимание. Сибирский губернатор Гагарин донес ему, что в Малой Бухарин находят золото в калмыцких владениях в реке Дарье (Сыр-Дарье). Петр пишет ему своеручно:

«Построить город у Ямышева озера, а буде можно, и выше, а построй крепость, искать далее по той реке вверх, пока лодки пройти могут, и от того итти далее до города Иркети и оным искать овладети».

Первое русское укрепление было тогда же построено на берегу Каспийского моря, у Красноводского залива, куда впадает старое русло Аму-Дарьи. Но после убийства в Хиве Бековича-Черкасского маленький гарнизон Красноводска покинул в 1717 году крепостцу и возвратился на судах в Россию.

Новый Красноводск уже возник на нашей памяти чрез полтора столетия после Петра. В 1859 году экспедиция наша, обзоревавшая берега Туркмении, едва разыскала на красноводской косе следы бывших окопов Бековича-Черкасского.

Преемники Петра уже не смотрели на Каспий с гениальною проницательностью Петра и выпустили из своих рук захваченную дорожную добычу. Берега Хвалынского моря опять стали для нас чужими и враждебными; киргизские и туркменские пираты стали беспрепятственно хозяйничать на водах Каспия и делали невозможными торговые сношения с берегами его.

Хотя к 1732 году обе ближние к нам киргизские орды, малая и средняя, добровольно приняли подданство России, но это [491] не мешало прикаспийским кочевникам безнаказанно разбойничать на Каспии, укрываясь, в случаях опасности, в Хивинские пределы, под защиту Хивинского хана.

Только в царствование Николая I Россия обратила серьезное внимание на Каспийское море и на наши отношения к мусульманским ханствам Центральной Азии.

Для обуздания морских разбойников был основан в 1833 году Александровский форт в заливе Каспийского моря Мертвый Култук, перенесенный потом в 1855 году на гораздо более удобный мыс полуострова Мангышлака, далеко выдающегося в море и составляющий теперь попутный порт для обновления всякого рода запасов на пути судов из Астрахани в Красноводск, Узун-Ада и далее в Персию.

Для прекращения же постыдного невольничьего торга, ради которого береговые Туркмены свободно охотились по персидским берегам и полонили тысячами их жителей, Русское правительство построило на островке у входа в Астрабадскую бухту форт Ашур-Ада, который своими сторожевыми судами скоро водворил безопасность на водах Каспия, а вместе с тем лишил Персию всякого повода держать свои военные корабли на Каспийском море, которое Россия решилась признавать исключительно своим внутренним морем.

А вместе с этим умиротворением Каспия началось роковым образом и безостановочное движение Русских внутрь Туркестана, вверх по реке Сыру и потом к Аму-Дарье, началась эпоха русских завоеваний в Центральной Азии, остановившаяся пока на Мерве, Серахсе и Пенджде, и уже перевалившее на Памир, — эту «крышу света» и предполагаемую родину Арийского племени...

— Скажите, пожалуйста, что интересного можно посмотреть в Узун-Ада? обратился я за обедом с вопросом к ворчливому обитателю этого новорожденного Каспийского порта.

— Вы называете его Узун-Ада? насмешливо переспросил он меня.

— А как же нужно называть его?

— Я зову его Узун-Ад, это имя гораздо подходящее! желчно объявил старик. — А в аду что же можно смотреть? Пекло одно!.. Пекла и у нас сколько хотите... пятьдесят, [492] шестьдесят градусов, а если мало, и больше... Песку тоже сколько души угодно... Но уж кроме этого — ровно ничего!..

— Развели ж, я думаю, садики какие-нибудь, бульвары, скромно заметил я.

Обитатель Узун-Ада сардонически захохотал.

— Слышите, Антон Станиславович, сады, бульвары? Каково! обратился он, не отвечая мне, к своему соседу и, очевидно, земляку... — Как же-с, как же-с, Брынский лес целый... Понимаете ли, милостивый государь, розги одной нет, во всем городе, ребенка высечь нечем... Или вы думаете, мы его напрасно Узун-Адом зовем...

— Река же есть? не унимался л.

— Река!.. слышите. Антон Станиславович, — ре-ка-а! захохотал еще раздражительнее мой собеседник. — Когда б то река, а то ни одного колодца, государь мой, — воду за 136 верст со станции возят. Вы можете себе представить, какая это бывает вода при 55 градусах жара? Да в Узун-Аду иначе и быть не должно... На то он и ад кромешный...

— И развлечении никаких, ни клуба, ничего?..

— Как же, как же, развлечения на каждом шагу. То пароход придет, то пароход уйдет, а там железная дорога уйдет и придет... Чего ж еще?.. Правда, у нас во всем городе ни у кого ни одной лошади, ни одной коровы, ни одной овцы... Песком ведь не накормишь... Ну да это вздор!..

— Общество ваше небось немногочисленное?

— Знаете ли, правду вам сказать, мы все друг с другом как раки перешептались!.. Рожу приятеля увидишь, так не знаешь, куда бежать... Помилуйте, поневоле глаз намозолишь, изо дня в день все на одних и тех же глядя... Правда ведь Антон Станиславович?

Антон Станиславович, человек громадного роста и тучный, повидимому, занимался в аде кромешном каким-нибудь не безвыгодными подрядами и потому ответил чересчур нервному приятелю только снисходительною улыбкой, молча продолжая уписывать ростбиф с горчицей.

— Кто у нас там? Вот я, офицер жандармский, воинский начальник, да агентов человек пять... больше и нет никого, перечислял желчный старик.

— Я слышал, дорогу скоро переведут отсюда в Красноводск, там, может быть, получше будет? спросил я.
[493]

— Как же, держите карман! Так сейчас и переведут. В четверг после дождика разве. Ведь эта шуточка, батюшка мой, не больше, не меньше как в три с половиной миллиончика казне влетит!.. не то во все пять!.. Да и линия на сорок восемь верст длиннее будет, тоже прибыли мало... Отправитель не поблагодарит...

— Стало быть, вы против перевода в Красноводск?..

— Конечно, против. Уж тут, по крайней мере, знаешь, что Узун-ад, ну и не ждешь ничего... привык все-таки, стерпелся... А там ведь тоже не пряники будут!.. Тоже песок да море, море да песок!..

В эту минуту капитан прислал мне сказать, что виден берег, что мы входим в залив.

Мы поднялись с женой на рубку, полюбоваться берегами Туркмении.

День был ясный и розовые гряды голых Красноводских гор весело сияли на чистой синеве неба слева от нас. Под этим неохватным голубым сводом, низкая, красновато-желтая полоса Туркменского берега отрезала впереди, везде, куда глаз хватал, гладкую, голубую скатерть стихшего моря. Красновато-желтые острова пирамидами, горбами, холмами, плоскими отмелями, то круглые, как блюда, то узкие и длинные, как языки, целым перепутанным архипелагом обсыпали берег, оставляя между собою бесчисленные канальчики, проливы, бухты, озерки... Мы въезжали в какой-то лабиринт песчаных шхер, в котором мог распознаться только опытный лоцман. Признаюсь, я никогда не подозревал, что берег Каспия предстанет мне в таком оригинальном виде, напоминающем какую-нибудь Финляндию или Норвегию, хотя и с песком вместо скал. Я знал только о существовании единственного соседа Узун-Ада — довольно большого острова Челекена, который теперь остался вправо от нас и на котором производится добыча нефти Нобелевского товарищества. Влево от нас поворачивает Красноводский залив, оканчивающийся в своей глубине узкою и длинною Балаханскою бухтой, далеко врезающеюся в туркменский материк. Эта бухта, по всей вероятности, и была в древности устьем Аму-Дарьи, старое русло которой подходит прямо к ней.

Но мы держим курс правее, к Узун-Ада. Узун-Ада тоже один из бесчисленных песчаных островов, окаймляющих [494] берега Туркмении. На персидском, или как, здесь выражаются, фарсийском языке, слово это означает «длинный остров».

Ряд красных железных столбов указывает нам вместо бакенов наш извилистый фарватер, капризно выющийся между песчаных мелей. Лед каждый год срезает всякого рода другие значки, так что пришлось

склепывать по три рельса в один столб и забивать в песчаное дно. У конца красноводской косы вырезается плывучая башня красноводского маяка. Там живет вечно окруженный волнами моря начальник маяка с помощником и командой. Это поскучнее и пооднобразнее всякого Узун-Ада!

Направо мы все ближе врезаемся в оригинальный архипелаг. Вот подошли мы к полуострову Дарджа. Все это одни и те же до отчаяния голые, желтые, песчаные курганы, с разбегающимися из-под них низкими длинными косами... Только на немногих островах, где песчаные барханы нагромождены целыми горами и успели достаточно оплотнеть снаружи, встречаются тощие, темные поросли саксаула, набившегося в пазухи, ползущего по скатам...

Какою чудною лазурью ни переливает пред нами море, как ни ясна беспорочная синева весеннего неба, но и в этой светлой картине унынием и смертью несет от песчаных могил, необитаемых ни людьми, ни зверями, что облегли на многие версты пустынный берег Каспия.

Песчаные бугры быстро растут и впереди, и кругом нас. Мы в безысходном царстве песков, одолевающих все больше и больше голубое море. Это роковой рубеж, где великая азиатская пустыня, стихия смерти, схватывается в отчаянной борьбе грудь с грудью с водой, с источником жизни...

Все эти неудержимо заносимые песком ежедневно мелеющие прибрежные воды, все эти вырастающие в течение веков на зыбкой груди моря бесчисленные песчаные холмы, перешейки, косы, весь этот лабиринт песчаных островков, отодвигающий все дальше и дальше от берега морскую глубину, — все это плоды победы смерти над жизнью, пустыни над морем. Море уходит все дальше, пустыня надвигается все ближе. Сегодняшний свободный пролив завтра делается отовсюду замкнутым [495] озером, сегодняшнее озеро завтра зарастает материком. Безостановочно, с каждым движением ветра, напирают пески с широкого лона Азиатской пустыни и строят, строят среди воды без счету и меры свои плотины, валы, брустверы, поднимают свои пирамиды и башни... И какая сила сможет остановить их?..

II.

Оазис Ахал-теке.

Жалкая кучка домиков, называющая себя местечком Узун-Ада, совсем погребена среди надвинувшихся на нее песчаных гор... Тут уж ни травинки нигде, ни деревца, даже всевыносливого саксаула следа не видно. Один свежий, яркожелтый песок, только что взбуравленный ветром, еще весь в чуть застывшей зыби. Ступишь в него, по колена уйдешь. Это единственные окрестности городка на многие версты кругом. Безотрадная Сахара охватывает со всех сторон этот неудачно рожденный новый порт.

Несколько пароходиков и парусных судов грузятся около пристани прессованным хлопком. Это, кажется, единственный тут товар. По берегу расставлены целыми стенами его белые кубические кипы, стянутые двумя полосками железа. Все дворы, склады, огорожи Узун-Ада полны тех же белых кубиков. Сейчас чувствуешь, что стоишь пред воротами хлопковой страны.

Вот и наш пароход пристал, вплотную к деревянной пристани, и небольшая кучка черномазого восточного люда, достаточно оборванного и пыльного, жадно обступает выходящих на берег, высматривая хищническими глазами, не будет ли какой поживы.

Как-то жутко покидать цивилизованную уютность парохода, его зеркальные столовые и бархатные диваны, — чтоб отдаться этим зловещим пескам и этой грязной, и тоже зловещей, толпе. Ни извозчиков, ни лакеев из гостинниц, ни носильщиков с ярлыками — никого. Оборвыши атлетического вида в грязных тряпках, с черными разбойничьими буркалами, с рожами коричневыми от загара и покрытыми каким-то маслянистым потом, вырывают у вас чуть не насильно ваши вещи [496] и мчат их куда-то, скрываясь в теснящейся толпе таких же лупоглазых разбойничьих морд. Все это Персы, Татары, Армяне самого скверного разбора. Есть и Русские, тоже из рядов «золотой роты». Сюда забирается и здесь соглашается жить только отчаянный народ.

Местечко маленькое, а до станции железной дороги добираться приходится довольно далеко и все по пескам, по невыносимому жару. Несколько агентских контор, транспортных, комиссионерских, пароходных, несколько складов, — вот и весь городишко. Домишки крошечные, жалкие, лавчонки и того хуже. Улица больше состоит из заборов, охватывающих обширные пустыри, среди которых навален хлопок.

До грусти тяжелое, душу придавливающее впечатление производит эта высадка из древнего моря Гирканского во вновь завоеванные Закаспийские владения России.

Действительно согласишься с желчным старичком, — его подневольным обитателем, — что это Узун-ад!

Станцию железной дороги совестно назвать вокзалом. Что точно станция, в роде почтовых станций наших проселочных дорог, маленькая и тесная. Вокруг видны неудавшиеся попытки развести что-то в роде сада. Потрачено много усилий и денег, привозилась издалека черная земля, поливалась водой, тоже привозимой издалека, — и все опять засыпаюсь неукротимыми песками, все выжигалось неумолимым солнцем Азиатской пустыни. А вместе с тем удивительным образом на этих песках страшная сырость. Копнешь на полтора аршина в глубь и наталкиваешься на воду; только вода эта — морская. Все эти песчаные острова и мысы выросли на поверхности моря, которое они только затянули.

Мы с женой невольно вспомнили другой далекий уголок такой же знойной песчаной пустыни, посещенной нами несколько лет тому назад. Измаилия на Африканском берегу Суэцкого канала находилась совершенно в

тех же условиях, как и Узун-Ада — ни кустика, ни травки, все выгорело и засыпаюсь. И однако энергия Фердинанда Лессепа добилась того, что теперь его Измаилия, любимое место его пребывания во время работ канала, — превратилась в цветущую корзину садов. Конечно, для этого потребовалось ни более, ни менее, как проведение из вод Нила канала сладких вод, сопутствующего почти на всем протяжении морскому каналу Суэца. Может [497] быть, и для Узун-Ада сделали бы что-нибудь в этом смысле, если бы не постоянно висящий над ним в виде Дамоклова меча и до сих пор еще окончательно не разрешенный вопрос о перенесении порта в Красноводск, к которому могут подходить и глубоко сидящие суда. Теперь же сколько-нибудь большие суда, нагруженные товаром, должны останавливаться за несколько верст от Узун-Ада, пред входом в шхеры, и перегружаться в открытом море, иногда в непогоду, в небольшие береговые суда, что, конечно, вызывает потерю времени и серьезные расходы, а часто и несчастия с грузом. Трудно сомневаться, чтобы вопрос о переводе порта в Красноводск долго оставался неразрешенным. Это особенно необходимо в целях военных, так как Красноводск продолжает служить складочным военным пунктом. Нужно думать, что гениальный глаз Петра I, наметившего в Красноводске первую русскую стоянку для завоевания Закаспийских областей, и здесь так же мало ошибся, как мало ошибался он во всех своих планах. Если для скорейшего начатия железнодорожного движения в свое время было чрезвычайно важно сократить рельсовую линию и воспользоваться первым возможным местом берега, как починным пунктом, то в настоящее время, когда железная дорога уже стала окупать сама себя, кажется, ничто не должно останавливать перенесения этого пункта в место наиболее безопасное и наиболее удобное для войны и торговли хотя бы ценой некоторого удлинения линии.

Поезд потянулся черною коленчатою стоножкой по узкой дамбе, соединяющей остров Узун-Ада с берегом и другими попутными островками. Дамба поднята, чтобы вода морских прибоев не перебивала пути. Тут человеку приходится бороться в одно и то же время с волнами моря и с песками земли, с палящим зноем лета и с сибирскою стужей зим.

Первая станция, по истине, наводит ужас, но хороши и остальные! Сплошные песчаные кучугуры, иные величиной с добрую гору, провожают вас справа и слева, и стелятся вдаль. Заливы и проливы моря, густосиние среди ярко освещенных песков, то и дело подходят справа, а за ними опять недалеко лабиринт песчаных холмов, голых, сыпучих, без куста, без травки. Ясно, что это взбудораженное ветрами старое дно доисторического моря, когда-то схлынувшего отсюда через низины Кумы и Маныча в Азовское и Черное. Недаром древние [498] еще при Страбоне думали, что Гирканское, то есть Каспийское, море было соединено с Меотийским болотом, то есть Азовским морем. Пожалуй, оно и из болота обратилось в море с помощью тех самых вод Каспия, которые некогда покрывали эти береговые пески. Теперь старое морское дно засыпает своимидвигающимися песчаными холмами волны живого моря и с каждым днем расширяет на его счет свои владения.

Прибрежные острова Каспия те же песчаные кучугуры, что покрывают его берега, только не успевшие еще слиться, как они, в один безотрадный и безжизненный материк.

Отчаяние возьмет смотреть на него, даже проносясь на крыльях пара, а не только жить среди него. Это настоящие картины Дантова ада.

С щемящим сердцем гляжу я на беспомощно заброшенные в этих титанических песчаных могилах одинокие караулки, мимо которых быстро пронесит нас железнодорожный поезд. Это так называемый «околоток». Сторож и человек пять рабочих прячутся в маленькой казарме без двора и кустика, безустанно отбиваясь от везде царящего тут, все побеждающего песка, упрямо защищая от него своими крохотными силишками на протяжении нескольких верст узенький железный след, по которому пробегает эту дряхлую пустыню волшебный огненный конь Европейской цивилизации. Ни колодца, ни деревца у этой казармы, никаких соседей на многие десятки верст, кроме зверей пустыни. И воду, и пищу им развозят поезда: остановит какое-нибудь неожиданное несчастье прибытие поезда, и живи без глотка воды, без куска хлеба, пока тебя выручат.

Пески и Туркмены кругом в бесконечной пустыне, но Туркмены пока боятся, не трогают, — конечно, до первого случая. За то уж и приезд на станцию — тут целое радостное событие. После долгого немого ужаса сплошных песков, крошечный станционный поселочек кажется переполненным шумною жизнью, движением, яркими красками. С сердца спадает придавившая его свинцовая доска, и так искренно доволен, что видишь себя опять среди людей, среди родной русской силы. Пестрые столбы обычной казенной окраски, напоминающие шлагбаумы и версты какой-нибудь Калужской или Рязанской большой дороги, знакомый казенный фасон станций, знакомый казенный вид солдатиков, все один и тот же от Архангельска до Мерва [499] и Кокана, — все это удивительно бодрящим образом действует на душу. Значит, точно расейская сторонushка, и солдатики, и начальство, — все как быть должно. И хотя у каждой станции всегда толпится несколько босоногих Туркмен в лохматых шапках и бумажных халатах, сверкая на мало знакомую публику своими смелыми огненными глазами, — однако уж вы чувствуете себя совсем дома и ни малейшим образом не стесняетесь этих мирно глазающих кочевников. Тут все сплошь — военная сила. Кондукторы — военные, контролеры — военные, начальники станций — военные, сторожа — военные. Только одна железная воинская дисциплина и может держать в порядке эту затерянную в пустыне и дикарями окруженную дорогу.

Со второй станции, а особенно с третьей пески уже перестают громоздиться холмами, а стелятся гладкою равниной; тут уже не сыпучий голый песок, а песок с глиной, покрытый редким верблюдытником и кое-какою грубою травой; железная дорога все ближе жметя к югу, к горам, все дальше сторонится от великой песчанной пустыни, расстилающейся влево от нее. Однако и среди этой пустыни с третьей станции начинает вставать в туманах дали одиноким продолговатым островом обрывистая, как стол, гора Большого Балкана:

Утесистые предгорий, резко вычерченные своими каменными ребрами, несколько заслоняли его на первом плане, будучи все-таки не в силах скрыть от взора всю громаду его. Эти горы были бы, может быть, совсем незаметны где-нибудь на Кавказе, но тут, среди безбрежной глади степей, они высятся очень эффектно и играют важную роль.

Балканы покрыты густыми лесами обильны горными источниками, камышами и пастбищами. На лето туда гонят свои стада и укрывают свои кибитки все соседние кочевники. Инженеры наши давно уже озабочены, как бы провести с Балкана воду на станцию Бала-Ишем. С нами в вагоне ехала дочь одного из местных инженеров, девушка, повидимому, практичная и любознательная, хорошо освоившаяся с местностью. Она рассказывала нам, что на Балкане еще очень много хищных зверей, делающих не совсем безопасными изыскания наших техников. [500]

— Гиены там кишат, а барсы и тигры заходит в частую, говорила она. — Вот я только что купила у знакомого Туркмена две шкуры, одну тигровую и одну барсовую, а молодую гиену мне живую подарили.

— А сюда в степи заходят они? спросил я.

— Сюда очень редко; но на наших станциях другой бич: скорпионы и фаланги, рассказывала нам барышня. — Ни одна местность Закаспийского края не страдает от них так, как наша. Они просто отравляют нам жизнь: летом вы можете наткнуться на них решительно везде и никакие меры предосторожности не помогают.

— Что ж и умирают от них? спросили мы.

— Ну это больше рассказы, вряд ли от них умереть можно; только боль сильная и опухоль. Мы ими же самими и лечимся от этой боли. Настаиваем фаланг на спирту или масле и мажем опухоль.

— Жара, небось, здесь невыносимая летом?

— Да, градусов пятьдесят постоянно; а главное, дождей почти вовсе не бывает, даже и зимой, морозы сильные, а снега вовсе нет. Вот в нынешнем году, например, Самарканд был засыпан снегом, а у нас все было голо. Никакой нет возможности заниматься чем-нибудь днем. Оттого после обеда у нас даже и по службе не полагается никаких занятий; только в восемь часов и начинаем опять шевелиться. Уж мы чего-чего не придумываем, чтобы спастись от жары. Ведь вот и в вагоне нашем, в купе контролера, ванна нарочно устроена. Так мы иногда по целым часам просиживаем в ней. когда жара одолеет.

— А вода ж откуда? полюбопытствовал я.

— Воды здесь нигде нет, вода вся привозится по железной дороге особыми водяными поездами, баки такие большие поделаны: в них и развозят. Оттого-то нет никакой возможности развести у нас хотя маленький садик или цветничек...

От Бала-Ишем отделяется небольшая узкоколейная веточка железной дороги к Нефтяной горе. Возят по ней не паром, а лошадьми. Прежде там разрабатывали и нефть и серу, но теперь бросили, потому что нашли мало выгодным. Впрочем, около Нефтяной горы добывается еще отличная каменная соль, которая употребляется здесь везде, и делается так называемая кира, нечто в роде дешевого асфальта, который тут [501] употребляют на всех станциях вместо мостовых и полов и заливают им плоские крыши. На разработку минеральных богатств Нефтяной горы было уложено не мало денег при проведении железной дороги, и очень жалко, что полезное дело не могло быть доведено до выгодного конца, не знаю уже, по недостатку ли у нас средств или предприимчивости.

Мы долго проболтали с разговорчивою соседкой и не заметили, как надвинулась ночь.

Торжественное сияние полной луны одело суровую пустыню какою-то меланхолическою красотой. Высота свода небесного и его глубокая синяя тьма — смотрели настоящим югом. Югом дышал и теплый ветер, пробегавший по простору степей и чуть колыхавший целые леса почерневших от ночи бурьянов. Среди этой лохматой, темной поросли сверкали ослепительным блеском, будто озера, полные воды, рассеянные по пустыне многочисленные солончаки, покрытые своим белым налетом...

Я проснулся только пред станцией Бами, проспав Кизиль-Арват. Балканы уже давно исчезли, и слева тянулась ровная, как ладонь, голая степь. За то справа провожает нас сплошная цепь невысоких каменистых гор. Тут уже гораздолюднее и разнообразнее, как и подобает предгорьям. Опустевшие глиняные аулы виднеются в стороне, у подножия гор, по соседству с горными ручьями.

Текинцы пока еще в зимних кочевках своих, среди песков, где зимой им привольнее, потому что снега на равнине мало, и скот без труда добывает себе подножный корм; а кочевник во всем зависит от своего скота и следует не своим собственным удобствам, а потребностям верблюда и барана. Летом, в жары, он поднимается, напротив того, на горы, где к тому времени растают последние снега, отrostут обильные пастбища, и леса, покрывшись листьями, дадут скоту приют от полуденного зноя.

Аулы Текинцев очень характерны и похожи друг на друга, как овцы их стад. Из глины слепленные слепые кубики, с одною, двумя щелями вместо окон, обнесенные такою же глиняною стенкой, и около непременно укрепление, своего рода осадный двор на случай опасности. Конечно, это опасности уже [502] минувшие, в дни постоянных междоусобных распрей и постоянных набегов на Персию. Теперь эти ихние грозные «кала» служат только разве загонами для стад, да местами аульных сборищ и игр.

«Кала» Туркмен хотя тоже глиняные, как и все к этом глиняном царстве, но довольно внушительные.

У станции Бами, например, делая формальная крепость с довольно высокими стенами, зубцами, башнями, угловыми и воротными, и узкими бойницами в стенах. При таких отчаянных защитниках и таких метких стрелках, каковы Текинцы, крепости эти были далеко не шуткой. Кругом калы разбросаны обыкновенные, в виде фортов, отдельные небольшие укрепления и башни, вероятно, принадлежавшие каждому семейству. И так как, помимо прочего, вся местность текинского жилья изрезана целю сетью глубоких, неправильно выходящих арыков, а арыки очень часто обведены стенками, да и каждое жилище, окруженное глиняною оградой, больше похоже на блокгауз чем на жилой дом, то брать приступом текинские аулы, как это испытали наши молодецкие войска, было очень нелегко.

Характерною особенностью текинского аула и его калы обыкновенно служит большой насыпной курган с плоским верхом, который иногда помещается внутри калы, а иногда прямо на степи около аула. Это своего рода цитадель, в которой собирались защитники аула для решительного боя. Очень может быть, что он имел, кроме того, значение форума своего рода при решении важных общественных дел. По крайней мере, я видел такие плосковерхие холмы почти решительно во всех поселках и во всех укреплениях Текинцев. На других, круглых холмах, очевидно, служащих кладбищами аулу, и также всегда сопутствующих ему, виднеются нередко мусульманские часовенки арабского типа, с глиняными купольчиками и черным отверстием двери, куда родственники покойника, настолько же мусульмане, насколько язычники, входят для принесения жертв по своему древнему обычаю.

Часовеньки эти, по здешнему «мазара», очень живописно глядят в тени зеленеющих гор, среди однообразного пейзажа равнины.

Тут уже появляются и всадники вдали и стада черных овец с пастухами-кочевниками. Глубоко истресканные глинистые поля хотя покрыты еще полынью и верблюдятиком, но уже вместе [503] с тем весело пестреют красными цветочками мелкого дикого мака и лиловыми колокольчиками, а местами носят явные следы орошения и пахоты. Уже является возможность, вследствие близости гор, провести сюда родниковую воду, так что у вокзала Бами прохладою дышет на нас густая зелень довольно большого садика, полного тополей и белых акаций, среди которых звенит высоко бьющая вверх радостная струя фонтана.

Вместо дров опрятно сложены около станции кубики саксаула, который достигает до трех вершков толщины, чрезвычайно сух и деревянист, но вместе с тем невообразимо коряв и рогат.

Текинцев на станции попадаетея все больше. Джигиты у русских начальников тут все Текинцы, и уж они разодеты на загляденье! Во всей своей восточной боевой красе.

На горах еще белеет местами снежок; это гряды Кюрен-Дага и Копет-Дага, отделяющие От степи долину Атрека и его многочисленных притоков. Развалины крепостей, аулы, стада виднеются все чаще, по мере приближения нашего к Асхабаду, этому центру Ахал-Текинского оазиса, который мы теперь перерезаем.

На станции Арчман тоже заводится садик и фонтан, тоже проведены канавки к каждому дереву. Без орошения тут все — смерть; где орошение — везде жизнь и обилие. Нужно благоговеть пред могучею растительною силой какого-нибудь саксаула или верблюдятника, одолевающих без помощи воды пятидесятиградусный зной, добывающих свои питательные соки из камня, солонца и песка.

В первый раз тут увидели мы туркменские кибитки, разбитые вдали как будто на берегу прохладного озера. Но озеро это было сверкающий на солнце солонец, поросший по окраине камышом, словно и подлинное озеро. Солонцы эти идут иногда чуть не сплошь. А направо, под горами, стада верблюдов, и сторожащие их кругом текинские всадники.

У станции Бахарден опять кала как у Бами и у Арчмана, опять многолюдный аул под горами.

Странно, что Текинцы ни одного из своих укреплений не построили на крутых холмах и склонах гор, лежащих в такой близости от них, а почему-то постоянно строят их на равнине, гладкой как ладонь. Очень может быть, что в этом сказалась привычка кочевника к открытой степи и его [504] недоверие ко всему, что не его пустыня; а может быть также это вызвано удобством глиняной кладки, которая была бы гораздо затруднительнее на каменистых горах. Аулы и калы направо, у горы, а кибитки все чаще и чаще слева, в бесконечной глади солончаковых степей. Поля делаются значительно обработаннее. Арыки, то есть поливные канавы, своими валами, рвами и низенькими стенками изрезают равнину; посевы пшеницы, проса, люцерны — попадают уже нередко. Хлопок тоже разводится здесь успешно везде, где есть орошение. По всем полям разбросаны многочисленные узенькие круглые батеньки, слепленные из глины. Это тоже одна из необходимых мер предосторожности бывшего беспокойного времени. Туркмен, неожиданно застигнутый врагом на полевой работе, мог укрываться за эти башни-столбы, как за стволы леса, и отстреливаться, пока поспеет помощь из аула.

Мы уже не раз видели на полях работающих Туркмен с мотыками в руках.

Около Бахардена попадают уже сады и даже виноградники. Нам пришлось проехать сквозь аул, через целую перепутанную сеть белых глиняных стенок, обсаженных деревьями и вьющихся между ними канав. Внутри дворов не только обычные глиняные плоскостолбчатые мазанки без окон, но и кибитки. В середине аула, как водится — кала, — целая крепость с башнями и бойницами.

Текинцы — народ могучего сложения и сурового взгляда. Они очень смуглы и сохранили в лице резкие следы монгольского типа, «калмыковаты», как говорят наши мужики; особенно это заметно по их рту, всегда широкому, грубому и поставленному необыкновенно низко; длинные, слегка приплюснутые носы их также помогают этому отодвиганию книзу здоровенных челюстей, придающих лицу Текинца несколько живописное выражение. Бородки у них большею частью небольшие, начинаются всегда от висков узкими полосками черных бакенбард, которые только немного расширяются и удлиняются на подбородке, так что лицо Текинца кажется обвязанным сплошной черной лентой волос. Усы тоже монгольского типа, редкие, тонкие, как две черные пиявки. Но все-таки в общем Туркмен далеко не Монгол, а только подернутая

монгольством тюркская раса. Они и рослы, и красивы, как Турки. Взгляд их удивительно тверд, полон достоинства, воинственности. Сейчас [505] видно, что такой человек вытерпит молча все, что ни придется. Они смотрят на Русских, на все русское с глубоким любопытством, но без благоговения. Они сознают себя побежденными, но все-таки чувствуют и свою силу, и затеи европейской цивилизации, подрывающей суровую природную мощь духа и тела человека, повидимому, не вдохновляют их. Туркмены заметно крупнее, заметно плечистее и мускулистее Русских. Каждый из них стоит среди белых фуражек и белых кителей наших солдатиков, как пленный орел среди домашнего птичника. Их глаз действительно смотрит по орлиному, неподвижно, остро, смело. Сколько-нибудь значительный Туркмен одевается очень тщательно. Вон у вокзала стоит один из их старшин в огромной черной папахе, в тонком суконном халате шоколатного цвета поверх бешмета из темно-малинового шелка, подпоясанного богатым поясом. За поясом заткнуты чеканенные серебром пистолеты, на ногах узорчатые вязаные ноговицы и башмаки тисненные золотом. Но здесь же за то, рядом с ним, и оборванные текинские мальчишки в лохматых бараньих шапках, босиком. Все вооружены, богатые и бедные. Россия оказала побежденным героям самое чувствительное для них великодушие — позволила им носить оружие, которым они так отчаянно защищались против нас. И, надо сказать правду, Текинцы честно исполняют свое слово и до сих пор не трогают Русских, беззащитно разбросанных среди их пустыни.

— Лет пятьдесят не забудут они своего погрома! говорил мне один из здешних военных инженеров. — Оттого и тронуться не подумают. Вот разве, когда внуки их вырастут, которые ничего этого не видали и не слышали, так затеют, пожалуй, бунтовать!

— Да, хорош, хорош народ, говорить нечего, а в степи им все-таки не попадайся! улыбнулся скептически другой мой спутник.

— Помилуйте, да у нас на Руси свой народ, а грабежи и убийства случаются чаще, чем здесь, возразил инженер. — Нельзя же, чтобы когда-нибудь и не прорывалось. Я вот сколько лет тут, сторожа наши по одному, по два человека в будках ночуют, чего бы, кажется, легче и убить, и ограбить... Степь велика... Однако ни разу не случилось. Только и слышно иногда об убийствах на кордоне по горам. Ну да ведь это еще [506] Текинцы или нет? Там посты наши казацкие в таких дебрях стоят, что и не сыщешь. сразу. Может быть, и Текинец иной раз пошалит, а скорее всего Персы-контрабандисты. Тем это нужнее! Да я вам еще что скажу, заключил свою речь инженер. — Текинец хоть и воин от рождения, а все-таки рад миру: ему теперь гораздо лучше живется, чем в прежние времена. Прежде он в поле свое выйти не смел без ружья и шашки, не зная, что его, что чужое. Ведь чуть не каждый день друг у друга барантовали. Нынче богатый человек, — завтра угнали барантчи его верблюдов и баранов, — нищий стал. Да и головой рисковал каждый день. А теперь ему что? Зарабатывает шутя столько, сколько и не снилось прежде. Разъезжает всюду спокойно со своим товаром, за деньги свои тоже спокоен. Теперь они все богачи стали!.. хлопком стали заниматься, шерстью, пшеницу продают... Из чего ему бунтовать?

Текинцы, через землю которых мы теперь проезжаем, называются Ахал-Теке по имени своего оазиса. Оазис Ахал-Теке начинается около Кизил-Арвата и тянется на 240 верст до Гяура узкою полосой не более 20 верст в ширину вдоль подошвы гор, отделяющих от пустыни долину Атрек, и носящих название Кюрен-Дага и Копет-Дага. За Ках-Кою идут уже кочевья других текинских племен, входящих теперь в Тедженский и Мервский округи. Разницы между различными родами Текинцев нет никакой, кроме имени предка, давшего им название. Да и вообще между всеми племенами Туркмен очень мало различия, хотя они постоянно враждуют друг с другом. Туркмены — это исконные жители пустыни, в ней родившиеся, в ней умирающие, обожающие пустыню, как свое божество. Они залили своими кочевыми ордами все беспредельное песчаное море, с его прибрежными оазисами, которое простирается от берегов Каспийского моря и плоскогорий Усть-Урта к Аральскому морю и по всему течению Аму-Дарьи до самих верховьев ее, стало быть до границ Китая и Индии, а с юга до Эльбурзских гор Персии и до Гиндукуша. Хотя в эти части азиатской пустыни Туркмены передвинулись сравнительно не очень давно, а Текинцы вытеснили своих туркменских собратий Иомулов и Эмрали из теперешнего своего оазиса [507] всего только в начале XVIII столетия, однако, нет никакого сомнения, что это первобытные народы-пастухи, уцелевшие от веков седой древности, когда Арийцы еще робко приступали к первым попыткам своей оседлой земледельческой жизни. Это живые памятники той бесконечной борьбы на жизнь и смерть Ирана с Тураном, которыми полны первые летописи Азии, которыми проникнута Зендавеста, которые, быть может, внушили Зороастру его глубокие идеи о борьбе зла с добром, духов тьмы с духами света. И, конечно, это Туран; Туран — дух тьмы, сначала долго бывший победителем и владыкой, наконец побежденный, в свою очередь, и, надо надеяться, навсегда, потомством Ирана, духами света.

Туркмены, плоть и кровь Турана, сохранили до сих пор не только его былые свойства разрушительной бродячей стихии, но и его имя. Нужно действительно быть проникнуто до мозга костей чувством сродства своего с этими палящими ветрами пустыни, иссушающими всякую жизнь, с этими движущимися горами ее сыпучих песков, засыпающих всякое проявление человеческого труда, — чтобы жить в течение веков среди этого песчаного моря, не ища ничего другого, не соблазняясь плодородными странами, которые им много раз приходилось покорять и захватывать. Они чувствуют себя как в тюрьме в улицах города, в обстановке труда и цивилизации. Как их товарищ верблюд, как соседи и земляки их степные ослы и антилопы, шакалы и волки, они не надыхнутся, не нарадуются суровым неохватным простором, в котором живут голодною и холодною свободой своих вольных кочевков.

«Туркмен не нуждается ни в тени дерева, ни в сени власти»! говорит характерная текпнская поговорка.

Эта многовековая обстановка зверя выработала в них вкусы зверя, силы зверя. Если настоящая текинская лошадь может по четыре дня не пить воды и скакать восемь дней сряду по 120 верст в день, как уверяют здешние жители, то и сами Текинцы поражают такую же сверхестественную выносливость, такую же нечеловеческую умеренность своих потребностей. Горсть риса или проса, глоток воды из соленой лужи — вот обычный обед Туркмена при переходах пустыни. Это не мешает ему на каком-нибудь праздничном пиршестве, на каком-нибудь даровом угощении, в одиночку [508] убить целого барана, как убивает его голодный волк, после недели вынужденного поста.

Туркмен изумительный наездник, изумительный стрелок, а Текинец особенно. Текинец силен, смел и ловок как прирожденный хищник, у которого и течение долгих веков все успело приспособиться к главной цели и содержанию его жизни. Ведь и у волка не даром выработалась могучая челюсть с зубами-кинжалами; несокрушимая шея, способная держать на бегу барана и теленка, и неутомимые ноги. Текинец действительно производит свою фигуру среди мирного населения, его окружающего, впечатление какого-то крупного и могучего хищного зверя, который только ждет удобной минуты для кровавой поживы. Он и лохмат, как хищный зверь, и глядит на вас глазами хищного зверя.

«Не расти дереву, где есть верблюд, не быть миру, где есть Туркмен!» с откровенною похвалой говорит старая пословица Текинцев.

Не даром Персияне, испытавшие горьким опытом силу и смелость своих степных соседей, до такой степени трепетали одного вида и даже одного имени Текинца, что целая толпа отдавалась без боя в плен двум, трем всадникам, послушно перевязывая друг другу руки и ноги. Случаясь, что один вооруженный Текинец, появившийся на базаре пограничного персидского городка, обращал в отчаянное бегство весь базар, все население города и хозяйничал в его лавках, как его душе было угодно. Случалось нередко, что текинский разбойник в одиночку пригонял к себе в аул несколько человек Персиян, не трудясь их даже связывать, хотя, казалось бы, они безо всякого труда могли стащить его самого с лошади и сделать с ним все, что бы им ни вздумалось.

Вот что, например, рассказать один Текинец моему железнодорожному спутнику, понимающему по-туркменски: ходили мы в атаман за Атрек, в Персию; вот я наловил человек пять Персов и веду с собою; связать их нечем, караулить некому; а хочется еще пленников набрать, дело вышло способное. Вот я говорю им: слушайте, Персы! Вы знаете, что я всех вас знаю, откуда каждый из вас. Садитесь у этого куста и ждите, пока я вернусь, на один шаг отойти не смейте. Кто с места двинется, тому не жить больше на свете! опять нас всех найду, и жен, и дочерей ваших [509] всех перережу... Да и отправился опять за добычей. Захватил еще троих, привел их к кусту, где прежних оставил, смотрю, все в кучке сидят, будто кто веревкой их к кусту привязал... Даже для себя не смели отлучиться, тут же делали...

И это только один случай из тысячи, о которых здесь знает каждый мальчишка.

«Ни один Персиянин не может перейти Атрека иначе как с веревкой на шее!» еще недавно хвастливо величались Туркмены Иомуды.

Текинцы, собственно говоря, сохранили в себе больше всего старой туркменской удали. Туркмены, ближайшие к Хиве, к Бухаре, точно так же как Туркмены Иомуды Джафарбаевского и Атабаевского рода, заселяющие теперь берега Каспийского моря до Усть-Урта и залива Кара-Бугаз, слишком испорчены своими постоянными сношениями с более сильными соседями, которым они нередко для вида подчинялись, которых они обманывали на всякий манер и при всяком случае, и от которых они привыкли выманивать всякие подачки. Через это нрав их стал более лукавый, униженный и лживый, между тем как Теке

ограничивали свои отношения к соседним государствам почти исключительно открытыми разбоями и войной, что отразилось на большей прямоте и твердости характера их.

Впрочем, было бы вообще наивно представлять себе ответных степных разбойников, этих двуногих волков своего рода, какими-нибудь великодушными рыцарями. Они бесспорно гостеприимны и храбры до безумия. В этом их пастушечья и разбойничья доблесть. Но вместе с тем они жестоки и беспощадны, как звери, и обман считают таким же необходимым оружием самообороны и нападения, как свои шашки и винтовки. Клятвы и договоры для них пустые слова, если только из-за них им не видно какой-нибудь выгоды или опасности.

А их взаимная зависть, недоброжелательство и недоверие друг к другу делали невозможными между ними никакие крепкие, общественные союзы и раздробляли довольно многочисленный туркменский народ, считающий в своей среде добрых полтора миллиона душ, на множество друг с другом враждующих племен. [510]

«Аламан», — разбой ради наживы, — был до последнего времени единственным идеалом и единственным промыслом Туркмена. Все время от конца полевых работ в сентябре и до начала их в мае посвящал он обыкновенно аламанам. В аламани он не щадил никого и ничего, и тот «сардар», который умел водить его на удачные аламаны, под чьим предводительством он набирал больше добычи, — становился в его глазах героем и главой всех.

«Туркмен на лошади не знает ни отца, ни матери!» с циническою правдивостью признается Текинец.

А соседи про него сложили другую поговорку: «Текинцы продали бы в невольники самого пророка Магомета, попадись только он им в руки!» На вопрос европейского путешественника, как Туркмены решаются продавать в рабство своих единоверцев, один очень набожный хищник отвечал ему так: «чудак! Коран — книга Божья, конечно, благороднее человека, а все-таки покупается за несколько кранов. Да чего же лучше, когда Юсуф, сын Якуба, был пророк, а между тем его продали. Что же, разве это повредило ему сколько-нибудь?»

Впрочем, надо и то сказать, что срединная Азия всею своею историей вырабатывала эти вкусы, насилия и кровожадности. На насилии основывалась семья Азиянца, на насилии основывалось его гражданское и государственное устройство, на насилии покоятся и международные отношения азиатских государств. Кругом нигде нечего кроме возмутительного проявления своей силы, кроме содрогающей душу жестокости во всем — в суде, в управлении, в войне...

Стоит вспомнить ужасающие подвиги какого-нибудь Чингиза, повелевшего зарезать четыреста тысяч жителей в столице покоренного Ховарезма, теперешней Хивы, или Тамерлана, этого оригинального друга правосудия и просвещения, топтавшего лошадиными копытами тысячи детей и воздвигнувшего громадную пирамиду из голов казненных неприятелей.

Даже и гораздо позднее, в XVII веке, какой-нибудь Имам-Кули-хан, которого Вамбери в своей истории Бухары называет бухарском Гарун-аль-Рашидом, взяв приступом город Ташкент, клянется Аллаху, что будет проливать кровь врагов своих, убийц его любимого сына, пока кровь эта не [511] дойдет до стремени его лошади; только, прибегнув к хитрости, улемы могли к концу дня остановить беспощадную человеческую бойню: чтоб осуществить клятву, принесенную гневным эмиром, они поставили коня его в яму, где кровь убитых действительно дошла до стремени его коня.

Наш известный путешественник по Востоку Е. П. Ковалевский рассказывает, что в конце сороковых годов нынешнего столетия ташкентский визирь безо всякого суда зарыл своего родственника по шее в землю, выбрил ему голову и намазал медом, так что тучи насекомых сейчас же покрыли ее. А английский капитан Шекспир видел, как один туркменский старшина зарыл брата своего по плечи в землю, привязал к шее его веревку, другим концом ее взнуздал лошадь и стал гонять ее вокруг прикола, пока веревка совсем перетерла шею, и голова несчастного свалилась с плеч.

Воспитанные на таких исторических образцах, ни Туркмены, ни страдающие от разбоев соседние народы не знают другого обращения с побежденным врагом, как веревка и нож.

Персы и Хивинцы точно также спокойно режут горла пленным Туркменам, как и Туркмены им. Оттого-то Текинцы были поражены бесконечным изумлением, когда после разгрома Геок-Тепе русские победители не только не стали резать их, как баранов, не только не потащили на веревках их жен и детей продавать на базарах Персии, а еще стало кормить их и устраивать им жилища.

Один из спутников моих говорил на станции с Текинцем, участвовавшим в защите Геок-Тепе.

Англичанин, тоже слушавший рассказ Текинца, стал укорять в жестокости генерала Скобелева.

— Нет, зачем так говоришь! живо вступился Текинец. — Это ничего! Так надо. Война, надо убивать... Я его убиваю, он меня убивает. Так хорошо. Все бились, всех убивать надо. Нет, вот еслибы ты видел, как мы с Персами делали! Положим пред ним детей его и режем понемножку: сначала рукиотрежем, потом ноги, потом голову, прежде одному, потом другому, а он все смотрит. А отвернется, мы ему ножом в бок. Потом жену его режем, потом его самого, и все понемножку, чтоб он все сам видал!..

Со смехом оскалил свои белые зубы Текинец, очевидно, вполне утешенный такими сладкими воспоминаниями. [512]

Теке не только занимают свой узкий оазис у подножия гор, где сидят частою вереницей их аулы и крепости, где зеленеют их поля и сады, но еще кочуют, как и все другие Туркмены, по беспредельной песчаной пустыне своей, пробираясь волчьим чутьем и чуть заметными следками к знакомым им колодцам, озерам и руслам иссохших степных рек...

Из оазиса Ахал-Теке, как и из Мерва, как с берегов Каспия от Красноводской бухты и устьев Атрека, — проложены через пески пустыни к Хиве и Бухаре еще с глубокой древности караванные пути, которые опытный караван-баши, — вожа караванов, знает так твердо, что не собьется ни ночью, ни в буран, хотя эти пути заносятся ежедневно сыпучими песками. Пути эти идут, копечно, по колодцам полусоленой воды, разбросанным, хотя очень скупо и редко, по пескам пустыни. С берегов Каспия до Хивы можно совершить путь на верблюдах через пустыню в 15 или 20 дней, смотря по тому, какую выбирать дорогу. Наш Муравьев-Карский, будучи еще молодым капитаном генерального штаба, в 1819 голу, по поручению Ал. Пет. Ермолова, главнокомандующего на Кавказе, совершил геройское путешествие от Красноводской бухты в Хиву вдоль старого русла Аму-Дарьи, Уз-Боя, в 17 дней, не имея при себе никого кроме Армянина переводчика и нескольких провожатых Туркмен.

Полвека спустя, Венгерец Вамбери, знаменитый своею специальною ненавистью к Русским и своею довольно подозрительною ученостью в сфере азиатского Востока, переодетый дервишем переехал с караваном Туркмен Иомудов с устьев Гюргеня (немного южнее Атрека и очень близко от гор. Астрабада) в Хиву по так называемой средней караванной дороге, мимо Большого Балкана, после чего он держался почти той же дороги, как Муравьев, и сделал весь свой путь в 20 дней.

Теми же путями Текинцы и другие туркменские племена делали набеги на Хиву, и в свою очередь хивинские ханы ходили громить улусы кочевников.

Немудрено поэтому, что и в Хиве, и в Мерве, и на Атреке хорошо знают эти дороги. Было и время, и случаи изучить их. Кости людей и животных, погибших от жажды и [513] изнурения, а иногда и от ножа разбойника, служат на них красноречивыми верстовыми столбами, и недостатка в них никогда не бывает.

Когда явились Туркмены в азиатских пустынях, наверное сказать трудно. В IX веке по Р. Хр. вторгшиеся с севера Турки Сельджуки разрушили власть арабских халифов в Ховарезме, Мареванагаре и других областях

Центральной Азии, теперь именуемых Хивой, Бухарой и пр. Многие думают, что Туркмены их остатки. Может быть это и так, а может быть и не так; доказать это во всяком случае трудно.

В Хиве, Бухаре, Ташкенте, Фергане, везде мы видим до сих пор особое племя завоевателей, которые величают себя Узбеками и отличают себя от покоренных народов Сартов, Таджиков. Конечно, Узбеки эти — завоеватели позднейшего времени, но тоже однако Тюрко-Монголы. Почему же в туркменских пустынях нет никакого следа покоренных племен, никакой двойственности туземной расы?

Очень может быть, что Туркмены были ответные обитатели песчаных пустынь Азии, которые не соблазняли никаких завоевателей древности и которые не могли быть завоеваны ни одним из этих завоевателей. В самом деле, какая корысть была бы хотя Чингис-Хану или Тимуру захватывать и заселять эти бесплодные разбойничьи гнезда? Другое дело, ворваться с войском в улусы разбойников, пожечь их, угнать их скот, наказать их за дерзкие набеги так, чтобы детям их было памятно. Такие войны со степью, конечно, бывали постоянно у всех ее соседей. Но после утешения родных кочевий, кочевники, рассыпавшиеся, как ветер во все стороны, собирались опять, опять гоняли уцелевший скот, опять разбивали свои кибитки, сотканые из шерсти этого скота, опять пили кумыс своих кобылиц и отправлялись на своих доморощенных, быстрых как ветер, конях в новые набеги.

Одно можно сказать с достоверностью, что с незапамятных времен истории в пустынях этих действуют народы, ничем неотличающиеся по нравам и образу жизни от нынешнего Туркмена.

В «Истории Александра Великого, царя Македонского», Квинта [514] Курция, полной многих баснословий, есть любопытные указания на обитателей теперешней Туркмении.

Александр, как известно, направился в Бактрию и Индию чрез Гирканию, то есть теперешний Мазандеран, следовательно, в ближайших окрестностях Астрабада. Между реками Гюргень и Атреком, то есть на самой границе Персии от России, в кочевьях Иомудов, начиная от так называемого Серебряного Бугра, до сих пор видны остатки огромной стены, построенной по преданию туземцев Искандером, то есть Александром Македонским и называемой Туркменами «Кизиль-алан» — «хранилище золота».

Вамберн видел развалины этой стены и ее башен на многие версты вдоль битой караванной дороги, параллельной течению Атрека.

Этот памятник и это предание несомненно подтверждают, что воинство Александра двигалось из лесов Гиркании по теперешней северной границе Персии, то есть приблизительно по тем горным странам, которые провожают справа нашу железную дорогу из Узун-Ада в Асхабад.

Страну, примыкавшую с востока к Гиркании, Курций называет, по примеру других древних географов, Маргианою, и в Маргиане этой упоминает большой город Маргию, впоследствии Александрию Маргийскую, которую все исследователи древности считают за Меру или Мерв. Ясно, значат, что Маргиана была теперешняя Туркмения с Асхабадом и Мервом и с прилегающими к ней северными частями Хорасана.

В этой Маргиане, по Курцию, жил Мардский (вероятно, Маргский) «дикой народ», которого тогдашний портрет легко бы годился в портрет теперешнему Туркменскому народу.

«Иркании порубежен был Мардский дикой и в разбоях упражняющийся народ, который один только не прислал послов к Александру и, повидимому, власти его не хотел покориться».

Александр вел, правда, войну с этим отчаянным народом не только на ровных местах, но и в горах, и в лесах, где даже был отбит варварами его знаменитый конь Буцефал; но это означает только, что и тогда кочевники степей захватывали северные лесистые отроги Персии. Собственно же про Текинских Туркмен достоверно известно одно: они жили на полуострове Мангышлаке у Каспийского моря еще при [515] Петре I; калмыцкий хан Аюка выгнал их оттуда, вследствие чего они двинулись к югу, вытеснили в 1717 г. из их кочевий Иомудов и Эмрали и заняли Кизил-Арват. Отсюда уже постепенно распространились они до Мургаба. Замечательно, что Туркмены приняли русское подданство еще при Петре I-м, но после, при слабых потомках великого царя, забыли об этом, как и о многом другом, что делал гениальный хозяин земли Русской. В 1802 г. Туркмены опять принимают наше подданство и опять ни к чему.

III.

Текинский Севастополь.

Во всяком случае Русским удалось то, что не удалось великому македонскому завоевателю, — не только покорить, но и умирить вековых степных разбойников.

История русского похода в Теке была труднее македонского уже потому, что войска Александра до самого Паропампза шли жилыми местами, не стесняясь разорять и захватывать под свою власть все области, которыми ему было удобно проходить. Русский же отряд обязан был двигаться через степи по бесплодным Туркменским кочевьям, заботливо оберегая неприкосновенность персидской границы. А Туркменский оазис у подножия гор, по линии теперешней железной дороги, был почти сплошь покрыт тогда еще неразрушенными крепостцами, которых насчитывалось целых 47. Каждый значительный аул охранялся особою крепостью, развалинами которых мы теперь любимся на каждом шагу. Многие из них нужно было брать с бою.

Победоносное завоевание Русскими недоступного Ахал-Текинского оазиса, составлявшего грозу и ужас окрестных государств, началось, как всем, конечно, памятно, с постыдной неудачи. Для русской истории это впрочем не новость, а почти установившийся обычай: неудачами начинались все войны Петра с Турками, со Шведами, неудачами начался знаменитый 12-й год, Плевненскими погромами началась и последняя Болгарская война.

Разумеется, мы сами кругом были виноваты в плачевном [516] исходе нашего первого похода под Геок-Тепе. Генерал Ломакин очутился совершенно случайно во главе действующего отряда, вследствие внезапной смерти талантливого Лазарева, и распорядился, так сказать, не своим, а чужим делом. А тут еще на беду наслали ему из Петербурга разных штабных баричей, которых старые Кавказцы презрительно величают «фазанами», и которые явились только нахватать поскорее и побольше чинов и знаков отличия в этой игрушечной, как они думали, войне с азиатскими халатниками. Баричи все были знатные и влиятельные и мало поэтому стеснялись своего скромного начальника. Всякий предлагал свое, действовал по своему. В результате оказалось, что отряд двинулся в пустыни, ничем не обеспеченный, неспособный выдержать малейшей неудачи. Подвоз припасов, снарядов, людей был затруднен до чрезвычайности, потому что опорный пункт отряда — Чикишляр, — вследствие мелководия своего, был недоступен даже и для небольших судов. Паровые суда должны были останавливаться за 3 и 5 верст от берега, а парусные бросали якорь так далеко, что их едва можно было разглядеть с берега. Почтового сообщения между берегом и действующим отрядом устроено не было, госпитали были безо всяких необходимых принадлежностей, у отрядного священника не было ни облачения, ни утвари, ни книг, ни запасных даров, чтобы совершить богослужение и причащать умирающих; провизии не было, никаких складов, запасов по пути движения не существовало, верблюдов было очень мало, тыл ничем не был обеспечен. Денег тоже не было. Одни только штабные господа аккуратно получали звонкою монетой по 40.000 рублей каждый месяц. Их набралось под разными бесполезными титулами до 60 человек на какие-нибудь 3.000 войска, достигшего до Геок-Тепе. Под один обоз их отнималось у отряда 340 верблюдов в то время, как отряд не знал, откуда добыть средства передвижения для самых необходимых тяжестей. Целая сотня казаков была разобрана в вестовые к этому многочисленному и ни на что ненужному начальству.

Также необдуманно и неподготовленно, как производился поход, — произведено было и самое нападение на Геок-Тепе.

Когда Текинцы узнали о движении отряда в их оазис, «джум-гурие» их, то есть сход всего племени, решил биться до последней капли крови. Старая крепость Геок-Тепе, так [517] называемая «Куня Геок Тепе», расположенная среди песков, была оставлена, и решено было укрепляться немного ближе к горам, вокруг холма Денгиль-Тепе. Но как ни одушевленно работали Текинцы, не только мужчины, но и дети и женщины, — однако не успели вполне окончить укрепления к приходу Русских. Южная сторона оставалась совсем неукрепленною, восточная готова была только на половину, да и остальные стены не были еще доведены до настоящей своей высоты, так что через них хорошо были видны нашему войску прятавшиеся в крепости кибитки.

Передовая колонна наша под начальством князя Долгорукова поторопилась начать прискорбное дело 28 августа 1878 г., не дождавшись остального войска и не дав отдохнуть людям.

Да и самая атака крепости началась безо всяких предварительных рекогносцировок, прежде чем войска могли осмотреться и сообразить что-нибудь, при полном незнакомстве с положением крепости и числом ее защитников, при совершенном непонимании того губительного значения, которое должна была иметь для престижа русского имени в Азии неудача под Геок-Тепе. Этим только и можно объяснить себе поразительный факт, что штурмовые колонны полезли прямо во рвы и на стены, в то время как доступ в крепость был совершенно свободен с южной стороны...

Повидимому, у штурмующих не было заготовлено ни лестниц, ни фашиннику, ибо стоило ли возиться с этими пустяками в войне с халатниками! Усталые, полуголодные солдатики были двинуты прямо на уру, — и когда их встретили из-за стен тысячи метких винтовок и тысячи отчаянных храбрецов, оказалось, что с пустыми руками на стену не влезешь, и пришлось утекать восвояси под градом вражеских пуль, под натиском целых полчищ лихих наездников.

Еслибы не наша молодецкая артиллерия, которая с необыкновенным самоотвержением прикрывала тыл беспорядочно отступавших войск и осаживала своею меткою картечью отчаянно наседавшие на них толпы Текинцев, — исход боя был бы ужасный. Артиллерия не только спасла отряд после отбитого приступа, но и едва не окончила дело победой. Огонь ее привел Текинцев в такой ужас, что они, потеряв до 2.000 человек, и ожидая на другой день нового приступа, на [518] ночном сборище своем совсем было порешили уходить из Денгиль-Тепе, а многие даже прямо посоветовали покориться России. Им и в голову ни приходило, что они одержали над нами победу, и когда утром увидели, что русский отряд вскинул свой лагерь и отступает, изумлению и радости их не было конца. Во время торжественного пира по случаю победы все русские пленные были зарезаны, и с трупов их срезано сало для лечения боевых ран.

Храброму и опытному генералу Тергукасову, принявшему от Ломакина начальство над возвратившимся отрядом, принадлежит чрезвычайно важная мысль перенести базис будущих военных действий против Текинцев из неудобного Чикишляра в Красноводскую бухту, намеченную еще гениальным глазом Петра I.

Тергукасов же первый поднял вопрос о необходимости связать эту бухту железною дорогой с театром военных действий, например, с Кизил-Арватом. Скобелев, со всею горячностью и настойчивостью своего изобретательного военного гения, схватился за этот умный план и убеждал покойного государя, глубоко огорченного поражением 28 августа, не отлагать дела в долгий ящик, не давать Англичанам воспользоваться плодами нашей громкой неудачи и захватить себе какой-нибудь Герат. Он советовал одновременно и строить железную дорогу, и идти вперед. Экспедиция его началась осенью 1880 г. Наученный опытом своих прежних походов в Азии и тщательно изучив практические условия других походов, он с удивительною предусмотрительностью и благоразумием обдумал и подготовил до последней мелочи все, что было нужно для обеспечения долгого степного похода. В этом походе он показал себя не только талантливым военачальником, каким уже считала его вся Россия, но еще и замечательным военным хозяином. Целый ряд складов и опорных военных пунктов обеспечил его движение к Геок-Тепе; верблюды и провиант неумоимо добывалось везде кругом, в Персии, в киргизских степях, в Хиве особыми агентами. Госпитали, почта были

устроены отлично. Каждый солдат имел с собой на случай зимних холодов полушубок, фуфайку, запасные сапоги, суконные портянки и войлок для спанья.

Каждый шаг вперед изучался предварительными [519] рекогносцировками и съемками. Всякий офицер, всякий солдат заранее получали точные и практические наставления на все возможные случайности похода.

С каким невероятным трудом сопряжены все эти хозяйственные заботы о войске среди азиатских пустынь лучше всего видно из того, сколько верблюдов обыкновенно гибнет в каждый подобный поход. В Хивинской экспедиции 1873 года, например, погибло у нас 15.000 верблюдов, при рекогносцировке маленького отряда Маркозова 5.000, в войне Англичан против Афганцев 60.000!

А между тем верблюд единственное вьючное животное, способное выносить пески и зной пустыни и тащить притом на своем горбе целый воз клажи в 10 и даже 12 пудов.

Нужно вспомнить еще, что почти все верблюдовожатые в походе Скобелева поневоле брались из Туркмен, и что при каждом удобном случае они убегали сами и угоняли в пески своих верблюдов.

Скобелев, однако, несмотря на все препятствия, уверенно и без торопливости подвигался вперед. Текинцы бросали свои калы и кибитки и по мере движения отряда все больше сосредоточивались в Геок-Тепе. Они решились умереть, но не сдаваться. Даже пастухи, которых авангард отряда захватывал со стадами овец в покинутых калах, не отворяли ворот крепости, запирались в башнях и отстреливались впятером, вдесятером от целого войска, пока их не перекалывали штыками. Пощады не просил никто.

Скобелев отлично изучил восточного человека. Он постоянно твердил, что «Азиатца прежде всего нужно бить по воображению», и он его бил по воображению, где только мог, чем только мог. Чтобы доказать Текинцам, что русского войска не остановят ни пески, ни безводие, он вытребовал с берегов Аму-Дарьи, из Петро-Александровска, отряд Куропаткина. Куропаткин с 900 верблюдами прошел 973 версты через пустыню, почти неимевшую колодцев, и явился к ужасу Текинцев в их оазисе со своими закаленными в боях Туркестанскими солдатами.

Текинцы чувствовали, что на них теперь надвигается что-то непобедимое. Они смотрели на Скобелева с благоговейным ужасом. У них он был уже не белый генерал, не «ак-паша» как у Турок, а «кровавые глаза» — «гёз-канлы». [520]

Текинцы говорили про Русских: «Русские на далеком расстоянии просто жгут людей и нет возможности броситься на них и рукопашный бой. Потому мы хотим выдти из крепости только тогда, когда их войска подвинутся к нам близко. В рукопашной схватке Русские не устоят!» В силу свою Текинцы все еще верили.

«Теперь наша крепость сильнее, чем была прежде, похвалялись они Хорасанцам. Семейства наши будут хорошо спрятаны, до них трудно Русским добраться, так как мы для них вырыли глубокие жилые помещения. Если же будет сильный напор со стороны Русских, то переселимся кто в Персию, кто в Мерв! Мы бы помирились с Русскими, еслибы знали, что они не изнасилуют наших жен и не уничтожат всех мужчин».

Главным вождем Текинцев и распорядителем обороны в Геок-Тепе был знаменитый своими аламанами Тыкма-Сардар. Он всю свою жизнь провел в разбоях и будучи еще мальчишкой семнадцати лет уже стоял во главе целой сотни лихих наездников.

Персиане, соседи Текинцев, предрекали Русским новую неудачу и не верили в возможность одолеть этот отчаянный народ.

«Ради Бога, не идите прямо на штурм! уговаривал полковника Гродекова ильхани Беджнурдский Яр-Магомет-Хан, большой друг Русских. Поверьте мне, я Текинцев знаю лучше вас, я с ними воюю всю свою жизнь. Храбрее этого народа нет в мире. А теперь, когда в Геок-Тепе находятся семьи их, и Текинцам некуда деться, храбрость их удесятится!» Ему казалось, что для покорения Геок-Тепе слишком мало 20.000 войска и 100 орудий.

Хотя ни один иностранный корреспондент не был допущен Скобелевым на театр войны, однако английские агенты ухитрились преследовать наш отряд чуть не по пятам, следя за ним по персидской границе. Конечно, это были не столько газетные корреспонденты, сколько политические агенты-подстрекатели, делавшие все возможное, чтобы проникнуть к Текинцам и подбивать их к отчаянному сопротивлению русскому нашествию. Особенною дерзостью отличался пресловутый О'Донаван. Он несколько раз переодевался Туркменом и пытался перейти персидскую границу, но всякий раз был останавливаем [521] и водворяем обратно хорасанскими властями. Бродили также и разъезжали по соседству нашего отряда переодетый полковник Стюарт под именем армянского купца, капитаны Билль и Ботлер. О'Донаван перебрался потом в Мерв и, будучи жестоким пьяницей, шатался там по базарам, уча Мервцев как рубить головы Русским, чем впрочем возбуждал в них только презрительное недоверие, ибо они не дождались от него ни суленых английских денег, ни обещанной военной помощи.

Наш агент в Мешеле, Насирбеков, писал в это время полковнику Гродекову, из прекрасного и капитального труда которого мы главным образом заимствуем подробности Скобелевского похода: «Англичане везде имеют людей. Деньги, которые они бросают в этих странах, могут совратить родного брата. Страх, как они сыпят золото!»

Особенно бодрящее влияние на Текинцев имели письма английского консула в Мешеле, Абаз-Хана, обнадежившего их помощью Англии. В ожидании ее Текинцы не откочевывали в пески, засеяли все поля от

Геок-Тепе к Гяурсу и распределили воду, как всегда у них делалось. Крепость решено было защищать до крайности.

Дух народа был также сильно поднят прибытием двухтысячного подкрепления из Мерва. Везли было оттуда и два орудия, отбитые у Персов, но колеса рассыпались, и их бросили в степи. Теперь в Геок-Тепе собралось до 30.000 защитников, из которых одних всадников насчитывалось 10.000; всего же населения, засевшего в стенах Геок-Тепе, было не менее 45.000, и при этом всего одно шестифунтовое орудие, важно установленное среди окопов на вершине холма Денгиль-Тепе.

Внутренность крепости была уставлена кибитками и шалашами, изрыта глубокими ямами. Кибиток стояло около 15.000. Везде были проведены каналы с водой и выкопаны колодцы. В песках было зарыто много хлеба, а скот был угнан в степи за 150 и 200 верст дальше к востоку.

Когда отряд наш появился пред крепостью и стал вести первые апроши, в крепости уже давно все было готово к достойной нас встрече. Текинцы дали нам спокойно приблизиться траншеями к их рвам, и тогда вдруг неожиданно сделали отчаянную ночную вылазку. Это было уже в самом конце [522] 1880 года, 28 декабря. Кочевники оказали тут чудеса геройства. Босиком, в одних рубахах, с засученными штанами и рукавами, с одними только шашками и кинжалами в руках неслышно и быстро, как стая пантер, перебежали они расстояние, отделявшее их рвы от наших параллелей, и ворвавшись в передовые траншеи прежде, чем растерявшиеся войска успели сделать по ним хотя бы один залп. В неистовом натиске своим перекололи они артиллерийскую прислугу, захватили восемь пушек, вырвали знамя у 4-го батальона Апшеронского полка, сбили и смяли роты, изрубили множество офицеров и пробились сквозь все редуты и батареи чуть не до самого лагеря. Подоспевшие на выручку войска опрокинули однако назад эту упоенную победой босоногую толпу и отбили у нее назад все орудия кроме одного. На другой день у текинских кибиток торчали на кольях головы наших солдатиков, все изуродованные, с отрезанными носами и ушами...

Грешно не помянуть при этом безвестного русского героя, которого самоотверженный подвиг не менее всяких Муциев, Сцевола и Горацийев Коклесов достоин бы был передаваться из поколения в поколение русскому юношеству. Кучка Апшеронцев отступала на наши войска под жестоким натиском нападавших на них Текинцев. Войска не решались стрелять, чтобы не попасть в своих, и Текинцы могли через несколько минут овладеть нашими траншеями.

— Братцы! стреляйте скорее! Нас мало, а за нами Текинцы! громко крикнул герой-Апшеронец.

Залп огня отбросил надвинувшуюся Текинскую орду, но патриот-солдат пал, конечно, первый.

Не одну подобную вылазку делали и потом Текинцы, но уж мы приспособились к ним, и каждая новая попытка их кончалась все неудачнее и неудачнее.

Лихие степные наездники опешили и потеряли веру в свою непобедимость. С каждым днем становилось все труднее сардарам выгонять их на ночные атаки, кончавшиеся только сильнейшим опустошением их рядов. Они решили лучше дожидаться Русских у себя в стенах, где их приходилось по пять человек на одного русского солдата, и где бой должен был решиться не пушечным огнем, приводившим Текинцев в неопикуемый ужас, а страстно желанною им рукопашною схваткой, грудь на грудь. [523]

Наши траншеи и батареи между тем совсем приблизились к текинской крепости; Скобелев решил, что пришло время нанести последний удар. Три штурмовые колонны должны были с разных сторон двинуться ночью на крепость, помогая друг другу. Первую колонну вел достойный соратник Скобелева полковник Куропаткин, теперешний генерал-губернатор Закаспийской области. Под стену крепости заранее была подведена мина; тотчас вслед за взрывом ее колонна Куропаткина должна была двинуться в образовавшийся пролом и овладеть стенами...

Текинцы давно проведали про мину, но не боялись ее нисколько. Они думали, что Русские ведут подкоп с целью пробраться ночью внутрь крепости и радостно ждали этого, думая изрубить их по одиночке. Этот маневр был истари знаком кочевникам, и даже их величайший герой Чингис-хан проделал подобный подкоп под стены крепости, когда он брал столицу Китая. Текинцы, конечно, не допускали мысли, чтобы неверные Московы могли придумать что-нибудь получше их великого Чингиса!

Незадолго до полуночи вдруг раздался страшный подземный удар, и громадный столб земли и дыма взлетел к небу. Невозможно описать ужас, охвативший Текинцев. Никто не понимал, что это за громы небесные неожиданно разразились над их крепостью. Большинство думало, что это землетрясение. Кто помалодушнее, бросились бежать вон из крепости, не помышляя уже об обороне. Но еще оставалось много храбрецов, и все они, несмотря на потрясающий ужас, несмотря на сотни задавленных и растерзанных взрывом, встретили лицом к лицу нашу штурмующую колонну на обвалах бреши... Мина взорвала стену на протяжении пятнадцати сажен и уже, конечно, текинские герои были не в силах отстоять такие широко распахнутые ворота от молодецкого натиска нашей пехоты. По трупам переколотых защитников вошли наши солдатики на стены крепости, да и там еще должны были упорным боем брать каждый шаг, потому что толстые стены были перегорожены наверху глиняными траверсами, за которыми отчаянные Азиятцы рубились до последней капли крови.

Не давая опомниться сбитому со стен врагу, Куропаткин двинул войска с музыкой, барабанным боем и распущенными знаменами на центральную твердыню крепости — холм [524] Денгиль-Тепе, на котором столпились самые храбрейшие из Текинцев, поклявшиеся умереть на защите родного гнезда. Военная музыка наша приводит Азиятцев в какой-то мистический ужас и не раз помогала успеху наших атак. Штык скоро окончил кровопролитную борьбу, и русское знамя взвилось над Денгиль-Тепе.

«Поздравляю с полною победой, вся крепость наша. Оба орудия и знамя отбил назад!» доносил Куропаткин Скобелеву с вершины Денгиль-Тепе.

Оставались только отдельные калы внутри и около крепости; засевшие там Текинцы не сдавались, а отстреливались и рубились, пока их не перекололи до последнего.

Тыкма-Сардар долго напрасно пытался останавливать бегущих, ругался и бил их по чем попало; наконец, потеряв всякую надежду, он и сам ускакал в пески сквозь задние ворота крепости. Сын его Ах-Верды, храбрый предводитель ночных вылазок, пал в бою, сраженный гранатой.

Скобелев сам повел кавалерию преследовать бегущих и гнал их не менее пятнадцати верст. Даже пехота наша и та гналась за Текинцами верст на десять от крепости. Тысячи трупов устлали дорогу.

Всего было убитых в эту ночь со стороны Текинцев до восьми тысяч. Но, кроме того, крепость была наполнена кучами разлагающихся трупов, которых в последние дни Текинцы уже не успевали хоронить.

До самого утра войска должны были брать приступом ямы и кибитки, в которых защищались одинокие Текинцы, не успевшие бежать и все по очереди погибавшие под штыками. Ценная добыча хлебом, оружием, вещами, досталась нашему войску в Геок-Тепе.

Погром, нанесенный Текинцам, был потрясающий, такой именно, какой, по мнению Скобелева, необходим в Азии, такой, о котором вспоминают целое столетие, о котором с ужасом рассказывают на базаре самого глухого городка, в кибитке каждого кочевника. После таких только кровавых погромов Азиятец покоряется беспрекословно и взирает с благоговением на властвующую над ним силу. Оттого-то Асхабад был занят через шесть дней после Геок-Тепе без малейшего сопротивления. Его опять-таки занял Куропаткин, которому поэтому вполне законно быть теперь его правителем и [525] устроителем. 28.000 квадратных верст и пятьдесят тысяч жителей были присоединены к России этим завоеванием оазиса Ахал-Теке...

Но Скобелев поразил воображение Азиятцев не только русскою силой, но и русским милосердием, русскою справедливостью. Еще во время преследования врага, в самый разгар боя, он отдал приказ возвращать назад в Геок-Тепе бежавших текинских женщин и детей. Им были даны жилища и разная рухлядь из оставшейся добычи, им отпускался хлеб и разные припасы. Мало-по-малу, видя доброту Русских, Ахал-Текинцы стали возвращаться к своим семьям и селиться до старым местам. Наконец, даже сам Тыкма-Сардар, укрывшийся в Мерве, явился с повинною. Сначала он было предлагал Мервцам собрать из своих Ахал-Текинцев дружину в две тысячи всадников для защиты Мерва от Русских, но Мервцы с грубою откровенностью степняков сказали ему:

«Ты убежал от Русских и хочешь защищать Мерв? Если ты храбр, то после этого на свете нет трусов. Ты трус, потому что убежал, а храбрецы все погибли под Геок-Тепе».

Выбирать было не из чего, пришлось волей-неволей покориться Русским и даже отправиться потом на поклон к Белому Царю.

Салоры и Серыки с берегов Теджена и Мургаба тоже прислали послов с предложением покорности. Соседние Хорасанцы ликовали от восторга, что наконец избавились от своих вековечных утеснителей. В самых далеких углах Азии громко отдался удар, нанесенный русской силой храбрейшему и неукротимейшему из ее народов.

С взволнованным чувством осматривал я полуобвалившиеся стены Геок-Тепе, так недавно еще вписавшие героическую страницу в историю русского воинства. Вид исторических местностей имеет на себе какую-то особенную печать. Ведь и Бородинское, и Куликовское поле — ничего больше, как поля, покрытые такими же нивами, как и всякое другое. Однако, глядя на них, видишь не только вспаханную или засеянную землю, а что-то гораздо более выразительное, что-то могуче-возбуждающее и мысли, и ощущения ваши. Глядя на них, грезишь на яву [526] и заселяешь пустынную равнину картинами и образами, которые приносит сюда ваша голова, наше сердце...

Такое же точно впечатление произвела на меня и заброшенная Текинская крепость, на которой невидимыми буквами написано навсегда, в память векам грядущим — 12 января 1881 года.

Нас было несколько человек, и по счастью, один военный инженер, лично участвовавший в осаде Геок-Тепе. Он мог разъяснить нам все, что нам было неясно.

Мы влезли на стены и бродили внутри крепости. Крепость поражает своею кажущеюся ничтожностью. Она стоит на совершенно гладкой равнине, у самых песков. Обхват ее большой, более четырех верст в окружности. Недаром же в ее стенах помещалось все население оазиса, почти полсотни тысяч народа с их кибитками. Но высота стен за то не больше двух сажен. В толщину они гораздо больше: до пяти сажен при основании и до трех наверху. Так как они глиняные, то, вероятно, другого размера сделать нельзя, иначе бы они обвалились. По верхнему краю стены идет ход, прикрытый двухаршинными тонкими стенками с узкими бойницами для ружий, и перегороженный через каждые несколько сажен такими же поперечными стенками, так называемыми траверсами. Эти траверсы сделаны нарочно для того, чтобы на каждом шагу можно было остановить неприятеля, успевшего где-нибудь влезть на стену. Частые ступени ведут из крепости на стену, вдоль которой с внутренней стороны ее вырыты жилые ямы, где во время осады укрывались семейства Текинцев. Наружный ров уже изрядно осыпался и обмелел, но все-таки заметно, что он был не менее двух, трех сажен глубины и такой же ширины... Странное дело, в Геок-Тепе не было запиравшихся ворот. Девять открытых выходов в стенах, против которых вместо мостов были оставлены земляные перемычки между рвами, защищались только короткими и высокими глиняными стенками, поставленными впереди рва на подобие щитов или ширм. Это несколько напоминает древнюю Спарту, которая заменяла стены храбростью своих сынов.

Я стоял на вершине стены и окидывал задумчивым взглядом печальную картину, расстилавшуюся предомной. Грозная твердыня Текинцев теперь полуразрушена и обращена в мирное пастбище. [527]

Недаром Скобелев говорил, что «необходимо вспахать Геок-Тепе!»

Исхудалые за зиму грязносерые верблюды, облезлые, как чучела музея, объединенные молью, — высокие, громоздкие, бродят внутри этих обагренных кровью стен, в философском безмолвии срывая своими мозолистыми губами колючую траву по удобренной кровью земле. Полуголый постушенок — Текинец, в позе юного атлета, живописно уселся на парапете стены, как раз против меня, болтая босыми ногами, загорелыми, как юфть и с презрительной беспечностью поглядывает на суетящуюся у крепости публику. Все теперь пусто внутри крепости. Только по середине ее виднеются камни разрушенной калы, которая составляла своего рода цитадель Геок-Тепе, да позади, в юго-западном углу, высится сажен на восемь или десять, зеленея своими скатами, плоский холм Денгиль-Тепе, — главная и последняя твердыня сокрушенной Туркменской силы.

За то по сторонам крепости вся степь покрыта зубчатыми и башнями, стенами с бойницами, развалинами глиняных строений, рвами арыков, разбросанными шелковичными деревьями.

Как раз против Геок-Тепе, по дороге от Кизил-Арвата, щетинится уже полуразрушенное теперь Самурское укрепление, бывшая Текинская Егян-Батыр-Кала, прозванное так в честь геройского 1 батальона Самурского полка, все время бившегося в голове отряда от начала до конца Текинской экспедиции. В этом укреплении, тоже взятом с кровавого боя, были сложены в дни осады Геок-Тепе двухмесячные запасы для целого отряда.

С другой стороны, в песках, виднеются деревья и разрушенные башни Куня-Геок-Тепе, покинутого Текинцами при первом движении Русских в их оазис. Я оглянулся направо — там совсем другая картина. Среди бесплодной скатерти глинистого поля три, четыре русские могилки под скромными деревянными крестами. Под ними похоронены без монументов и надписей безыменные русские солдатики, грудью своею взявшие твердыни Геок-Тепе.

Несколько Текинцев провожало нас на стены крепости. Они влезали и слезали легко и проворно, как кошки. Им, очевидно, не было обидно наше любопытство и они показывали, и рассказывали нам все, что могли, весело осклабляя свои сверкающие, как у волка, белые зубы. [528]

— Был ты в Геок-Тепе, когда Скобелев брал? спрашивал старого хищника один из наших пассажиров, ученый Армянин-ориенталист, говоривший по-джегатайски.

— Всеми быти; и я был! коротко ответил Текинец, глядя и сторону.

— Как же вы, такие храбрецы, поддались Русским? Ведь вас же было в пятеро больше?

— Мы бы не поддались, да ничего сделать было нельзя! с искренним вздохом отвечал Текинец. — Скобелев уж очень хитер был. Мы было воду в ров напустили, думали, через воду Русские не перейдут, а Скобелев взял да и отвел воду в другое место и ров сухой стал, стену толстую сделали, думали, не перелезут Русские через такую стену, перережем мы их всех; ждала ведь все, что Русские на стены полезут, как в первый раз; а Скобелев какой хитрый! Все из пушек нас бил, огнем жег, а на стены не шел. Вот мы слышим ночью, что Русские под стеной ход копают, лопатами стучат. Ну, думаем, вот это хорошо! Пускай копают, верно они хотят в крепость пробраться, пока мы спим. А мы спать не стали, всю ночь шашки точили, думаем, станут они из-под земли вылезать, а мы пм головы будем рубить. Нам только этого и нужно было. Собралось нас много народа, первые храбрецы и уселись поближе к стене, где Русские подкоп вели, ждем, когда первый Русский оттуда покажется, и сабли наголо держим. Вдруг, как задрожит земля, как взлетит вверх стена наша, мы думали, что весь свет сквозь землю провалился! Все голову потеряли! А тут Русские ура закричали... В крепость ворвались... Ну, мы и побежали!.. Что ж больше делать? Рубят нас сзади, рубят спереди, и жен, и детей, всех рубят, а мы бежим куда глаза глядят... После уж не велел Скобелев женщин рубить, так мы хватали с женщин халаты, надевали их на себя и садились где-нибудь. Так нас и не тронули.

— Ну что ж, теперь за то мирно живете, вмешался в разговор другой пассажир, — ведь признайся, правда под русскою властью вы стали гораздо богаче. Работы сколько хотите, за все деньги платят и никто у вас не отнимает ничего.

— Нет, нет! с неудовольствием отмахивался головой Текинец и животное выражение его низко оттянутого рта сделалось при этом еще грубее и враждебнее. — Как же можно!.. [529] Теперь хотя и есть деньги у Теке, да работать нужно каждый день... Пшеницу — работай, табак — работай, дорогу — работай! а тогда Теке совсем не работал. Зачем работать? Нужно денег, поехал в Персию на аламан, поймал трех Персов, продал в Хиве, и живи себе полгода, ничего не делай... Как же можно!

Вокруг Геок-Тепе оазис населен особенно густо. Аулы на каждом шагу, и все к стороне гор. Крепостцы следуют одна за другою чуть не сплошною цепью. Садики, орошаемые канавками, поля, изрезанные арыками, шелковичные деревья вдоль арыков, делают обыкновенною обстановкой пейзажа вместе с пасущимися везде стадами верблюдов. Аулы подходят даже к самой железной дороге, так что поезду приходится проноситься между их глиняными стенками, из-за которых хорошо нам видны бобровые шалаши текинских кибиток и их глиняные мазанки без окон. Иные кибитки оплетены еще сверх войлоков камышевою изгородью, смазанною глиной, в защиту от резких ветров пустыни. Текинцев также видишь все больше и больше, и в полях, и на станциях железной дороги. А над всем этим оживленным весенним пейзажем, которого зеленых красок и следа не останется уже в мае месяце, господствует своими ближними лесистыми хребтами и своими выглядывавшими из-за них далекими снеговыми вершинами бесконечно тянувшийся Копет-Даг, провожающий нас все время с тех пор, как мы проснулись ранним утром за Кизил-Арватом.

Тут и почва, и климат — превосходны, а животный мир богат даже и в песках соседней пустыни. Дикие ослы, джейраны, антилопы — бегают стадами. Гиен множество, а шакалы воют по ночам вокруг самого Асхабада.

Военный инженер, с которым мы ехали, держал у себя некоторое время дикого осла (Кулана). Но объездить его не удалось, потому что куланы настолько благоразумны, что не позволяют садиться на себя оседлавшему всю их четвероногую братию двуногому собрату своему. Этот родоначальник нашего ленивого и рабски покорного осла оказывается самым рьяным, самым быстрым и самым неукротимым животным азиатской пустыни...

(Продолжение следует.)

IV.

Асхабад.

После песков пустыни и глиняных Текинских аулов, Асхабад произвел на меня самое отрадное впечатление. Это беленький, чистенький, новенький городок, радостно сверкающий своими зелеными садами, своими веселыми домиками. Городок, однако, ежечасно превращающийся в большой город. Рост его видится просто глазами. Говорят, летом он душен, но теперь, в развал весны, он еще дышит самую свежую молодостью. Везде вода, везде фонтаны, и в маленьких садах частных домов, и в городском саду, и на городских площадях. Вода проведена из горных ключей, верст за 12, с помощью самого несложного и недорогого водопровода. Все улицы подметены, политы, обсажены деревьями, везде строгий военный порядок. Домики Асхабада скромные, небольшие, все похожие друг на друга, как и подобает военному городу, за то ютятся в просторных, щедро отмеренных усадьбах, среди садов, за сквозными оградами. Когда эти юные садики разрастутся, тени и свежести будет очень много. Домики каменные, низенькие, плоскокрышие и крыши залиты киром, так что выходит своего рода нестираемый город. Улица-бульвар, которая ведет прямо от вокзала, называется Анненковскою, в [48] честь строителя Закаспийской железной дороги, генерала Анненкова. На ней находится и дом Анненкова. С Анненковской мы повернули под прямым углом на одну из самых лучших и, главное, самых тенистых здешних улиц — Офицерскую, которая ведет к Скобелевской площади. Мне очень нравится этот обычай молодых азиатских городов наших, к сожалению, мало свойственный нашим старым русским городам, — называть улицы и площади именами людей, заслуживающих того, чтоб имена их были переданы потомству.

На Скобелевской площади строится новый каменный собор, который должен быть готов уже этим летом, а пока стоит скромная деревянная церковь, не помещающая и сотой части войск, расположенных в Асхабаде. Тут же и спартански — скромные нумера Семенова, в которых мы поместились и которые считаются лучшими, за отсутствием в городе настоящих гостиниц для приезжающих.

Асхабад не даром производит впечатление не русского, а скорее итальянского городка. Если много воздуха и солнца на его улицах, то за то в его гостиницах — ни малейшей уютности, и зимой, надо думать, их тенистые и сырые «нумера» обращаются в пещеры Борея. Достаточно уже того, что все эти «нумера», они же и спальни, открываются прямо на крытое крыльцо, или, если хотите, балкон, без малейшего следа какой-нибудь прихожей. На счет внешней обстановки, прислуги и самых необходимых житейских удобств — отложите, разумеется, всякое попечение. Но я говорю это мимоходом, более для других, чем для себя, потому что сам я без малейшего труда мирюсь с этим спартанством наших азиатских заезжих домов и никогда не ставлю их на счет любопытным местностям, в которых мне удастся побывать, как это имеют обыкновение делать более требовательные туристы.

Заказав себе что можно было к обеду, мы отправились, чтобы не терять времени, осматривать город. Извозчики в азиатской России, как вообще и у нас на окраинах, гораздо приличнее и удобнее, чем извозчики в наших старых губернских городах, раболепно подражающих в этом неопрятной старухе Москве. Вместо узеньких грязных пролеток, на худых клячах, тут почти везде так называемые фазтоны, просторные и покойные, на довольно горячих лошадях.

Центром Асхабада служит дом генерал-губернатора, [49] низенький и скромный, как все дома юга, окруженный за то большим садом. На площади против него памятник генералу Петрусовичу, энергичному помощнику Скобелева в Ахал-Текинском походе, и другим героям Геок-Тепе. Другой памятник русским воинам, павшим в бою с Текинцами, воздвигнут около строящегося собора, на Скобелевской площади. Оба памятника скромны на вид и говорят не столько глазу туриста, сколько чувству русского человека. Через площадь, против дома генерал-губернатора, старая текинская крепость на холме. Глиняные стены, глиняные башни, рвы и валы, обложенные дерном. Хотя на валах еще хмурятся черные жерла пушек и ходят часовые, но крепость в сущности обращена в простой пороховой магазин и склад оружия. Только разве в случае какого-нибудь волнения туземцев она может сыграть роль цитадели. Казармы в крепостце, и казармы на всякой почти улице. Кроме военных учреждений да лавок, тут мало что увидите. Асхабад в этом отношении до сих пор сохранил характер военной штаб-квартиры своего рода. Во всем городе одна только двухклассная школа, хотя город и считается столицей целого Закаспийского генерал-губернаторства. Это, конечно, мало похоже на Америку, но в Азии, да еще в Туркменской, довольно понятно. Базары Текинский, Персидский, Бухарский, армянские и русские лавки, — все это сосредоточено главным образом в старой части города. Тут множество ковров всякого рода, текинских и хорасанских, шелковых материй, пестрых бумажных тканей, всего того, чем обыкновенно бывают богаты азиатские базары, но специально интересного нет ничего. Новые части города распределяются с военной правильностью, свободно и широко. Кварталы вырастают за кварталами, словно сами собою. На пустырях, раздаваемых почти даром, разбиваются сады, устраиваются ограды для будущих усадеб. Вместе с расширением города, гражданская жизнь волей-неволей начнет все больше врываться в этот пока исключительно военный быт. Впрочем, уже и теперь существует здесь общественное собрание помимо военного. Есть и публичный городской сад с фонтаном, гротом и высокою горкой, с которой отлично можно обозреть весь Асхабад. Белые акации, павловнии, елаеагнусы, чинары, — вообще флора Крымского полуострова, — составляют главную массу деревьев этого сада. Несмотря на первую половину апреля, акации уже отцвели, [50] и сад вообще оказался не особенно богат цветами. Здесь раза два в неделю играет полковая музыка, и Текинцы толпами приходят ее слушать. Аул их как раз против публичного сада, через Анненковскую улицу. Мы проехали его во всех направлениях. Был рамазан, и они праздновали его. Глиняные стены идут вдоль и поперек, окружая их дворы, поля, огороды. Узенькие

переулочки, с трудом пропускавшие наш фаэтон, вьются и ныряют между этими нескончаемыми глиняными оградами. На дворах кибитки, мазанки, верблюды и арбы. Домовитости никакой: настоящее хозяйство кочевника. Пустырей в оградах больше, чем жилищ. Таков был весь Асхабад, когда мы забрали его. Теперешний «русский Асхабад» производит на Текинца впечатление какого-то непостижимого волшебства. Он еще не пришел в себя от изумления, откуда и как появились среди их грязного глиняного аула все эти чудеса, эта кипучая жизнь, эта роскошь, это веселье, этот стройный порядок и полная безопасность. Магазины, фонтаны, монументы, поезда железной дороги, хоры музыки, — там, где на их глазах так недавно еще паслись верблюды среди бурьянов пустыни.

Извозчик наш с чувством зависти рассказывал о довольстве Текинцев.

— Чего им теперь еще! говорил он в ответ на мои вопросы. — Как жили на воле, так и теперь живут. Царь наш все им оставил. Земля есть, сады есть, скотина есть, податей с них сходит самая малость, меньше, чем с нашего брата, и никто его теперь трогать не смеет. Что ни базар, он все что-нибудь продавать волочет, потому хлеб сеет, и траву, и табак, и виноград; опять же шерсть у него, ковры бабы их ткут, на что лучше; нашим до них куда ж! По полсотне и по сотне рублей за один ковер берут. Даже с Москвы купцы покупают. А тратить ему куда? Ест он что овца, пьет воду одну. Одежду ему опять-таки баба его справляет. Ему по дому никакого расхода нет... По их жизни беспрерывно у них большие деньги должны быть...

— А не разбойничают они тут по ночам? Смирно живут? спросил я.

— Нет, что ж, клепать на них нечего. Бывает за полночь в одиночку едешь мимо аула их, и ночь темная, ни-ни! пальцем никто не тронет. Нет, баловства от них никакого [51] не приметно: смирно живут и не воруют. Наш брат на это хуже. Начальства, конечно, боятся, потому с ними дуже строго поступают, коли что такое...

Генерала Куропаткина не было в Асхабаде; он объезжал свою область; поэтому я не мог воспользоваться письмом, которое имел к нему. Однако, я все-таки сделал несколько знакомств в местном военном мире. Между прочим, я познакомился с полковником А., занимавшимся экономическими исследованиями многих местностей Закавказского края. Он человек наблюдающий и думающий и не даром объездил глухие уголки этого глухого края. Мы разговорились с ним о Тедженском уезде, который он недавно посетил.

— Нужно пожить в этом крае, чтобы понять истинное значение орошения, говорил А. — Это не только важнейший здесь экономический фактор, но и основа всех общественных и племенных связей. Возьмите, например, реку Теджен. Она разделена Текинцами на четыре части; первый год, например, орошаются земли нижней части бассейна, для средних и верхних земель вода тогда запирается. На следующий год вода пускается в средние земли, а запираются остальные; потом в верхние, и так по очереди. В каждой части опять очередь: сначала вода делится между родами; столько дней подержит воду один род, столько-то

другой; в родах кидается жребии между аулами, в ауле между отдельными семьями, и т. д. Словом, вода создает естественную зависимость друг от друга всех частей племени, живущего на одной реке, волей-неволей объединяет их в один общественный союз, подчиняет их одним порядкам.

— Что же делается с землями, которым не очередь орошаться? Ведь они должны лежать все это время пустырем? спросил я. — Это огромное неудобство.

— Ежегодно орошать здешние земли нельзя, объяснил мне А. — От поливки появляется такое множество сорных трав, что они задавили бы всякий посев, еслиб их не уничтожали периодически повторяющиеся засухой.

Мне хотелось узнать, чем вызывается разделение Текинцев на пастухов и оседлых, чомур и чорва, и есть ли между ними племенное различие.

— О, нет, различия нет никакого, сообщил мне А. — [52] Один и тот же Текинец очень часто нынче чорва, а завтра чомур, и наоборот. Случается, что один родной брат чорва, а другой — чомур. Кибитка высылает одних членов своих пасти скот, других орошать поля и сеять хлеб. То же самое видел я и в Фергане у Киргизов. Там встречаются поучительные переходы от дикого кочевничества к полной оседлости. И это делается совсем незаметно. На одной и той же реке мне приходилось видеть все постепенные фазисы этого перехода. Понемножку прибавляется к кибиткам одна, две мазанки, потом глиняная ограда, потом арык и несколько деревьев, а там целое поле и целый аул, где уж кибиток почта вовсе не видно — пастух тут совсем обратился в пахаря и садовника.

Заинтересовал меня и один молодой офицер генерального штаба, полный энергии и по горло преданный своему делу. Все стены его холостой квартиры в планах кампаний, картах и чертежах. Я его застал среди груды разных книг и записок. Он готовился сегодня же вечером читать в военном клубе свое сообщение о способах ведения войны в Центральной Азии. Мне, конечно, любопытно было слышать взгляды образованных местных деятелей на наши задачи и на наше положение в Азии.

— Мы здесь не только воины, но прежде всего цивилизаторы! развивал мне свои мысли красноречивый капитан. — Солдат наш цивилизовал этот край; он создал его пути сообщения, его порядок, его безопасность. Он сажал и строил здесь все, что вы видите. Из этого нашего двойного характера вытекают и наши обязанности. Мы должны быть, с одной стороны, могучи и грозны, потому что на Востоке не уважается ничего, кроме силы, но с другой стороны, мы каждым шагом своим должны убеждать Азиянца, что у нас действительно лучше, чем у них, что мы действительно вносим в их жизнь то, чего они никогда не имели и не могут иметь без нас. И ведь мы достигли своего, это можно признать без хвастовства, и у нас им живетсЯ гораздо безопаснее, выгоднее, веселее, справедливее. К нам поэтому все теперь просятся: Сарыков и Салоров уже взяли, теперь лезут к нам Джемшиды, Персы... И этим приходится отказывать из политической осторожности. Да, по правде сказать, и нужды в них нет. Персы прескверный народ и с ними трудно ладить. Пока они [53] боятся нас; пока чувствуют огромную разницу между своим собственным корыстным,

ленивым, притеснительным начальством и русскими законными порядками, — они унижаются и просят к нам. Но раз он утвердился среди нас, уверился, что его права обеспечены, что он может безнаказанно судиться со всяким и на всякого жаловаться, — он уже с азиатской чванностью заявляет: я Перс, а не Русский, меня не смейте тронуть!...

— Однако, мы все больше и больше набираем таких нежеланных народов. Где ж, наконец, остановимся мы? заметил я.

— Что вы хотите! Нас гонит вперед какой-то рок, отвечал капитан. — Мы самою природой вынуждаемся захватывать все дальше и дальше, чего даже и не думали никогда захватывать. По условиям азиатской жизни, по великой роли, которую играет орошение в здешнем хозяйстве, — у кого во власти находятся истоки воды, тот делается невольным господином всего течения. Вот, например, Герат: верховья таких рек, как Герируд или Мургаб мы не можем позволить Персам или Афганцам иметь в своих руках; значит, хотим мы, не хотим, а уж непременно должны забрать Герат. Это только вопрос времени. Так все смотрят здесь на него: и мы сами, и наши враги.

— Теория очень опасная, улыбнулся я; — таким образом, придется идти чуть не до конца света, как это хотел сделать когда-то Александр Македонский.

— Да, но во всяком случае мы пока еще идем и не останавливаемся. Оттого-то нам необходимо зорко следить за собою и строго относиться к себе. Тут всякий пустяк имеет огромное значение. На нас обращено здесь слишком много взоров. Верите ли, что каждое солдатское учение наше — это своего рода школа для туземцев. Текинцы толпами собираются глазеть на нас. Их поражает изумлением, что воля одного до такой степени воплощается в массу, одушевляет ее и двигает, как одну могучую машину, что, по мановению начальника, тысячи людей, не раздумывая и не медля, исполняют в данное мгновение все, что приказывается. Для дикого кочевника это самая наглядная школа дисциплины, и, пожалуй, она многое подготовит нам в будущем! Оттого-то, повторяю, здесь, в Азии, нужнее, чем где-нибудь, высоко держать русское знамя... [54]

Вечер пришлось провести в военном собрании, где мой новый знакомец должен был читать свою лекцию. Собрание военное исключительно: офицеры, полковники, генералы, и никого больше. Я был, кажется, единственным черным пятном в этой толпе красных воротников, блестящих пуговиц, золотых погон и эполет. Даже мебель тут — и та военная: угловые канделябры очень остроумно устроены на треножниках из ружей, а посредине залы — люстра, весьма искусно связанная из штыков.

Дом военного собрания, окруженный большим тенистым садом, один из самых обширных и красивых домов Асхабада; помещение в нем офицерского клуба во всех отношениях удобное: прекрасная танцевальная зала, читальня, бильярдная, буфет, несколько гостиных. Слушателей собралось довольно много, но молодой лектор, не рассчитав хорошо объема своего реферата, слишком долго продержал их неподвижно на своих местах, не дав даже пятиминутного роздыха в течение 2 1/2 часов. Хотя тема лекции мне была довольно

хорошо знакома, но тем не менее я с любопытством прислушивался к искренним и горячим идеям молодого местного стратега, принимавшего личное участие в Ахал-Текинском походе. Он обставил свою лекцию множеством наглядных пособий, планами, чертежами, картами, развешанными кругом его кафедры, и ознакомил своих слушателей с практическими приемами войны против азиатских кочевников, как их выработали наши талантливейшие боевые люди, Скобелев, Черняев, Куропаткин, и другие. Он иллюстрировал эти принципы практической стратегии примерами из наших азиатских экспедиции, Текинской, Хивинской, Коканской, участники которых во множестве сидели в числе слушателей лекции, из войны Англичан с Суданцами и Афганцами, из итальянских столкновений с Абиссинией.

Не берусь критиковать верность его выводов, но признаюсь, что русскому сердцу было утешительно слушать, до какой степени неумелы и неудачны были действия враждебных нам Европейцев в войнах с кочевниками, сравнительно с молодецкими подвигами горсти русских солдатиков, умевших покорять целые царства при поразительной скудости всего, что насущно необходимо человеку.

Стремительный натиск штыками, сомкнутый строй, [55] непосредственная близость начальника к своему отряду, железная дисциплина и непременно — наступление, а не защита, — словом, все то, чего нет и не может быть у кочевника, что непривычно ему и что поражает его воображение, — вот основные правила русского боя с кочевниками, выработанные и завещанные своим товарищам по оружию Скобелевым и другими знатоками азиатской войны. Одна подробность, переданная как очевидцем, лектором — очень тронула меня: после боя в Денгиль-Тепе, возвращаясь с преследования бежавшего врага, солдатики наши усадили все лафеты орудий, все седла кавалеристов подобранными по дороге текинскими детишками и брошенными матерями их... В этом отрадное отличие «христолюбивого воинства» нашего от варваров-Азиятов, которые торжествуют свои победы прежде всего тем, что режут горла своим пленникам, не разбирая ни пола, ни возраста.

Я возвратился в свои «нумера» пешком прелестною южною ночью по тенистой аллее Офицерской улицы. Чудный мягкий воздух, аромат многочисленных садов и необыкновенная яркость лунного света, — выразительно говорили о юге, о весне...

У жены я застал за чаем нашего спутника, Американца из Чикаго, м-ра Крэна. Он тоже не терял времени даром и с помощью своего переводчика, Мингрельца, успел попраздновать на рамазане в кибитке аульного старосты, где женщины показывали ему, как они ткут ковры и пекут хлеб, а мужчины угощали кумысом и рассказывали всякие изумительные вещи о Хиве, — выше которой в воображении Текинца не существует ничего, ни на земле, ни на небе.

Посидев в Асхабаде сколько было нужно, пора было и собираться дальше. Поезд отходил рано, и, не надеясь на плохую прислугу, я чуть свет побежал на базары — отыскать извозчиков под нас и наш изрядный таки багаж. Город уже давно был на ногах и торговля в полном разгаре. Мы приехали на вокзал вовремя, но были поражены довольно [56] неприятным известием: оказалось, что почтовые поезда ходят только два раза в неделю, а сегодня отходит товаро-пассажирский, в котором, к довершению удовольствия, не будет на этот раз вагонов второго класса (первого класса совсем нет на Закаспийской дороге). Приходилось или садиться в вагон третьего класса на этот сравнительно медленный поезд, или ждать еще два дня. Мы поддержали военный совет с нашим Американцем и решились отправляться немедленно, чтобы не перепутать предположенного маршрута.

Не скажу, чтобы мы очень были довольны потом выбранным нами способом передвижения, но тем не менее потерять два дня было бы еще тяжелее. Главным лишением нашим было отсутствие буфета на поезде. Эта американская роскошь, незнакомая даже роскошным дорогам Европейской России, в Закаспийском крае вызывается насущною необходимостью. При отсутствии всякого цивилизованного населения вокруг крошечных станций Закаспийской железной дороги, при отсутствии в них даже достаточного помещения для буфетов, наконец, при отсутствии в их соседстве всяких рынков, на которых можно было бы иметь съестные припасы, нет возможности содержать постоянные буфеты на станциях, тем более, что поезда железной дороги сравнительно очень редки, и расстояния станции от станции довольно велики. Поэтому и нужно было создать буфеты путешествующие, сопровождающие поезд, и удивительно кстати развлекающие своими питиями и яствами злополучных путешественников, обреченных целыми сутками жариться на 50-градусной жаре в своих тесных клетках, созерцая песчаные бугры или гладкие, как ладонь, солончаки пустыни.

Хорошо еще, что мы с женой заранее запаслись всякою провизией и утварью, необходимою для странствований по варварским землям, так что это неожиданное злополучие не захватило нас врасплох. Русский чай очень удобно заваривался и распивался в вагоне, к особенному удовольствию м-ра Крэна, а запас кавказского вина и разных консервов, закупленных в Тифлисе и Баку, оказался неистощим, даже при участии еще двух случайных потребителей.

И оба мы с женой и привыкший ко всяким путевым передрягам Американец, — с философским благодушием переносили неизбежные злополучия, присущие подобному путешествию, [57] самым веселым образом подшучивая друг над другом и над самими собой. «В тесноте — не в обиде!» говорит русская пословица; и в грязи — тоже не в обиде, и в духоте — не в обиде, безо всяких пословиц думает про себя русский человек. С этой точки зрения и мы не должны были считать себя обиженными судьбой, хотя сугубо и трегубо терпели и тесноту, и грязь, и духоту. К великому еще нашему счастью Закаспийская дорога придумала прекрасную вещь — особые вагоны для магометан. Это в высшей степени практично и политично. Туземцы чрезвычайно довольны, что им не приходится перевозить своих жен и дочерей рядом с русскими солдатами, что они могут и сидеть по-своему, и молиться по-своему, не оскверняемые присутствием собак-Русских, а русский православный люд еще того довольнее, что все это лохматое зверье, кишачье всевозможными насекомыми, не полюдски говорящее, не полюдски сидящее, — не набивается в его вагоны и не возмущает его православных вкусов. Иначе бы в вагоны третьего класса и войти было нельзя. Теперь же все-таки спутники наши если и не принадлежали к числу особенно галантных людей, то все — таки были народ порядочный и под-час не безынтересный. Старый служака жандарм, в седых николаевских бакенбардах, шевронист, украшенный серебряным и золотым Георгием и несколькими медалями на шее, более других оказывал нам

знаки своего внимания, давая всем понять, что ему не в диковинку обращаться с хорошими господами. Он сломал почти все здешние походы, знал здесь всю подноготную и сообщал нам много интересного. Радости его не было пределов, когда он случайно узнал, что мы Куряне, и даже Щигровцы, земляки его по уезду, что мы хорошо знаем и его родное село, и его родных.

— Господи батюшки! повторял он, радостно осклабясь и поочередно рассматривая то меня, то жену. — Просто и глазам не верится. Как-таки, столько лет здесь прожил, первый раз приходится из местов своих земляков встретить... И каким это манером в такую сторону дальнюю вы попали, ума не приложить!... Ведь устроит же Бог!... А я уж думал, помру здесь, никого со своей стороны не увижу... Так неужто вы и вправду Ивана Аксеныча, дядю моего, знаете, и в Савинах наших бывали?

Эта неподдельная, детски — простодушная радость русского [58] человека при виде незнакомых ему земляков, была по истине трогательна. Я расспрашивал его о житье бытие Текинцев.

— Да живут ничего, только жизнь их скучная; с нашей не сравнять. Бабы у них только вот разве монеты серебряные на груди да на голове вешают, а наряду настоящего нет! Натянет прямо на голову рукав халата шелкового, да так и идет на базар. У нас бы мальчишки такую-то засмеяли, проходу бы ей не было... Ну, а хозяйничают ничего: пшеничкой занимаются, ячменем, сады тоже разводят, винограду — это чего больше! Теперь картошки пошли сажать, у солдатиков наших переняли.

— Наших-то здесь трогают когда? спросил я.

— Ни Боже мой! Здесь на это строго. Чуть что, сейчас весь аул в ответ. Переймут у них воду дня на три, на четыре, — хоть перекалейте все, — ну, и выдадут виноватого. А с ними расправа коротка. Коли убийство какое, сейчас в Асхабад и вешать! Да эти случаи редко случаются; разве только на границе самой, на горах. Текинская ведь земля только по гребень горы, а за гребнем персидская, ну, вот и балуются там, потому, уйти можно; пикеты наши казацкие редко стоят, по несколько верст друг от друга, так, может, когда и согрешат. Человек двенадцать в год убитых бывает, говорить нечего, а больше не бывает... Дюже наших боятся...

За Асхабадом Текинский оазис еще долго сохраняет свой цветущий и обработанный вид. Кибитки целыми сотнями стоят у самой дороги, засеянные поля, сады, аулы тянутся почти сплошь у подножие гор. Калы и отдельные башни осыпают непрерывною цепью линию аулов. Страна от Анау до Гяурса занята Текинцами не особенно давно — всего в 1881 году. До того тут жили подвластные Персии Курды и Туркмены Алили. Но больше всего тут оставили своего наследия выгнанные за горы Персы. Оттого она так людна и возделана. Какова была эта страна в прежнее время — об этом красноречивее всего говорят развалины города Анау.

Целый огромный город с храмами, стенами, башнями, куполами и арками базаров, с характерною живописностью высится у подножие гор на обрывистом, неприступном холме, плоском, как терраса. Он и внизу обсыпан на далеко кругом домами, башнями, стенами. Великолепная мечеть типического персидского

стиля, хорошо еще сохранившаяся, осеняет [59] свою громадную аркой и своим величественным заостренным куполом этот полуразрушенный и омертвевший город. Стены верхнего акрополя еще охватывают свои холм сплошным кольцом, хотя уже сильно вызубренным и растрескавшимся. Но за то внизу и кругом холма почти все они лежат низвергнутые во прах на огромное пространство и только уценившие одинокие обрывки их, да часто как зубы торчащие четырехугольные башни с бойницами, — указывают направление и размеры былых крепостных твердынь, в несколько рядов окружавших когда-то обширный город...

Анау — город глубокой древности, хотя, конечно, древний город давно погребен под более новым персидским. Два большие могильные холма возвышаются около города, и в одном из них наши местные исследователи уже пробовали делать довольно глубокие раскопки. К сожалению, мне не было времени познакомиться с археологическими работами по этому предмету. Но читая у Курция описание походов Александра Македонского, мне пришло в голову, не в Анау ли был тот «Ирканский город, где был Дариев дворец» и где, преследуемый Македонцами, Набарзан встретил их с великими дарами. В числе даров, как рассказывает Курций, был и «Вагой, прекрасный евнух еще в самом цвете младости, которого прежде и Дарий любил, и Александр вскоре любить начал», и который впоследствии с такою своенравною жестокостью распоряжался судьбой самых достойных соратников Александра.

С тех пор, как линия персидских крепостей по эту сторону гор была уничтожена натиском кочевников, соседние области Хорасана, Келата, Дерегеза, Кучана и Буджнурда обратились из цветущих мест в пустыню; по близости гор почти нет теперь персидских поселений, кроме спрятанных в неприступных местах. В округе «Пясс-и-Кух», например, из 460 деревень осталось только 20, и округ этот даже официально носит название «округа загорных развалин».

Так было бедственно для Персии соседство неукротимых хищников текинского оазиса. Немудрено, что Хорасанцы радовались Текинскому погрому при Геок-Тепе более, чем сами Русские.

Вся страна кругом носит на себе наглядные следы того [60] состояния вечной войны и постоянных тревог, в котором целые столетия сряду протекала жизнь ее обитателей. На каждом шагу ошетиняются своими стенами и башнями опустевшие теперь более никому не нужные, но недавно еще грозные, калы, в которые разве только пастух загоняет теперь на ночь свои стада.

А поля покрыты будто часто разбросанными деревьями — маленькими башенками-столпами, за которыми застигнутые врасплох неприятелем жители оазиса прятались и отстреливались, пока подспевала на выручку помощь из аула.

Эти безглазые башенки сообщают своеобразную физиономию текинскому полю. Любитель метафор сказал бы, что это выросшие из земли зубы дракона. Земля вражды и крови словно оскаливается на мир Божий этими, бессильными теперь, но все же еще злыми зубами своими.

Рот самого Текинца, как-то по животному оттянутый книзу, тоже постоянно оскаливается такими же злыми, хотя и белыми, как у Араба, зубами. Текинцы и смуглы, как Арабы, но за то скуласты и плосконосы, хотя далеко не так, как Монголы.

«Калмыковаты лицом», как метко определил их наш собеседник жандарм. Ухватка же и все приемы их изумительно напоминали мне ловкие и удалые движения дагестанских Лезгин.

Замечательно, что все эти калы и башни сделаны руками рабов-Персов. Текинец только в крайней нужде унижался до такой работы. Персы вообще несравненно искуснее Туркменов. Теке умеют еще проводить нехитрые арыки через свои сады и поля, но все подземные колодцы, «карызы» — остатки персидского владычества. Даже и теперь, когда нужно бывает почистить какой-нибудь древний карыз, в течение веков питающий водой несколько аулов, — приходится нанимать Персов. Карызы роются сначала в виде нескольких глубоких колодцев, расположенных по одной линии, и потом соединяются между собою подземными канавами. Оттого вода в них не испаряется даже во время самых больших жаров. Работа эта требует большого искусства и навыка и далеко не безопасна.

К сожалению, наш брат, Русский, не внес пока ничего нового в хозяйственный быт Текинского оазиса, кроме внешней безопасности и внутреннего порядка. Наша отечественная [61] предприимчивость, везде не особенно энергическая, спит здесь сном праведника.

Мы разговорились по этому поводу с одним нашим спутником, инженерным офицером, близко знающим край, где ему приходится действовать с самого покорения его.

— Что ж вы хотите, горячился он, — когда Россия высылает нам сюда одно отребье свое. Тут нужны капиталы, знание, смелая инициатива, а к нам являются чуть не нищие, люди никуда не годные на родине, ничего не умеющие и ничего не имеющие. Поневоле Армяне и захватили все в свои руки! Это владыки азиатской торговли, которые не побоятся никакой европейской конкуренции. Они тут у себя дома, чуть ли не с самого всемирного потопа. И к ним тут все привыкли, и они тут ко всему привыкли. Куда же Еврею сравняться с Армянином! Он тут дышать не смеет рядом с ним. Ах, еслибы сюда предприимчивых русских людей!.. Чтобы только тут накопело. — поверить трудно; тут в горах непочатые богатства: и сера, и нефть, и каменный уголь. Тут вам и хлопок можно разводить, и шелк, и виноград, и пшеницу, и все, что хотите.

— Отчего же вы не упомянули лошадей? заметил я. — Ведь текинские кони, я думаю, тоже могли бы стать важною отраслью торговли?

— Как вам сказать? Текинские лошади только в славе, а на деле я видел очень мало хороших, отвечал офицер. — Может быть, встарину было иначе; и потом непомерно дороги. Какое же сравнение с английскою

скаковую лошадью! Те не в пример лучше. Да вот будете в Мерве — сами увидите. Там большие конские ярмарки, можно заказать себе какую угодно лошадь...

— Скажите пожалуйста, а не пытались вы заводить тут русские поселения? спросил я.

— Есть у нас один русский поселок, махнув безнадежно рукой, сказал инженер — Верст пятнадцать от Асхабада к горам; дворов сорок их теперь набралось, так всякий сброд, не то чтобы настоящий сельский народ; прежде их всего было поселено семнадцать дворов, потом другие понаселились. Живут себе так ни шатко, ни валко, хлебом занимаются, виноградом, но прочности как-то никакой не видно, все кажется, что вот сейчас поднимутся и уйдут... Во всем [62] им нужна помощь, все на казенный счет наровят. К ним и без того нянька приставлены от казны: нарочно казаков рядом с ними поселили, чтобы Текинцы их не обидели...

От Анау до Артыка оазис словно прерывается, и железная дорога перерезает совсем безлюдную, как скатерть, ровную степь из глинистого лёсса, сплошь заросшую молодым еще темно-зеленым верблюдятником, которого мягкие пока колючки особенно лакомы нетребовательному кораблю пустыни. Весенние цветы в Ахал-Текинской степи везде одни и те же: мелкий красный мак и лиловые колокольчики стелются кругом необозримыми коврами. Но среди этой зелени и этих цветных ковров так же часто стелются и более характерные украшения пустыни — сверкающие, как лед, солончаки, которые по иллюзии зрения постоянно принимаешь за озера, тем более, что они, как озера, обросли даже камышами.

А тут еще неизбежное марево, — это сновидение пустыни, колышет над ними будто волны тихого моря нагретый воздух, капризно приподнимая в него и незримо где пасущегося верблюда, и далекий могильный холм, растянутые до чудовищных размеров.

На степи ничего, ни кибитки, ни человека. Только могильные курганы, длинные и плоские, насыпанные над какою-нибудь давно забытою славой степного хищника, одни безмолвно провожают наш шумно несущийся поезд.

Справа горы подходят все ближе к дороге, и из-за них все яснее вырезаются снеговые вершины другого, более далекого и высокого хребта.

Станция Ахсу совсем пустынная, без садика, без фонтана; человек тут еще едва отоптал местечко для жилья. Персия отсюда в двух шагах, и замирающий у Ахсу ближний хребет гор словно открывает нам свободный проход в нее. Наш Артык уже почти на самой границе Персии.

Но еще до Артыка мы остановились на целых пятьдесят минут в другой пустынной станции — Бабе-Дурмаса. От нечего делать я вынул свой дорожный альбом и отошел с четверть версты в степь набросать соблазнившие меня развалины маленькой калы.

За то с Артыка опять начинаются аулы, сады, калы, башеньки [63] в полях. Но сами поля мало засеяны. Здесь каждый засеивает только то, что в силах оросить; без орошения — здешняя почва бесплодный камень. За то посевы изумительной густоты, роста и силы. В полях мы видели за работой не только Текинцев, но и Текинок; они не закрывают лиц и не удаляются от мужчин. Тут я окончательно убедился, что около каждого значительного текинского аула непременно есть огромный насыпной холм с плоскою вершиной, такой точно, как знаменитый Денгиль-Тепе; не похоже, чтоб это были могильные холмы. Скорее нужно думать, что это место защиты на случай опасности или место народных собраний. Но впрочем, может быть, что место защиты и собрания вместе с тем сохраняет в себе прах предков, особенно дорогой Азиатцу.

С левой стороны дороги в степи — целые таборы кибиток, с правой — аулы, а дальше за ними на крутых, тоже, повидимому, насыпанных холмах ряд городков-крепостей, когда-то защищавших от вторжения Туркмен открытые в этом месте границы Персии. Текинцы отобрали их у Персов и обратили против них самих, но когда пала их твердыня в Геок-Тепе, они уже не защищали этих маленьких крепостей, а покинули их на произвол судьбы.

Текинцы пользуются теперь своими кала только зимой, укрывая в них от ветров и непогоды свои войлочные и рогожные кибитки.

Многие кибитки смазываются на зиму глиной по ценовкам. Вид текинской кибитки вообще напоминает издали небольшую круглую мазанку; своею формой она чрезвычайно похожа на те железные керосинные цистерны, какие так много видишь теперь при вокзалах торговых городов.

Странное дело, и здесь, в только что забранной Туркмении, успел уже укорениться обычный предрассудок южных туземцев, на который я наталкивался и в Крыму, и на Кавказе, — будто Русские приносят с собой снег и морозы в страны, никогда не знавшие зимнего холода.

Словоохотливый жандармский унтер-офицер, сидевший рядом с нами, герой Карса и Геок-Тепе, украшенный тремя Георгиями, золотыми и серебряными, рассказывал нам, что в 1881 году, когда они забирали Асхабад, в марте солдаты снимали от жары рубахи с тела, а Текинцы уверяли, что они никогда прежде не знали ни дождей, ни снега. [64]

С жандармом мы разговорилось про его походы.

Оказалось, что золотого Георгия на него навесил сам Скобелев при взятии Геок-Тепе, когда он на глазах генерала срубил Текинцу одним ударом голову с плечом.

— Текинцы молодцы! Да уж и сукины сыны на саблях рубиться! повествовал он нам. — Казакам нашим где ж до них, хоть и те ничего народ! Чего лучше — один против наших пятерых бьется и не сдастся никогда. Отряд целый придет, их пять человек в башню забьются, и все там и полягут, пардону никто не попросит. Страсть сколько побили их в Геок-Тепе! Я сам человек двадцать зарубил; потому мы гнали их пятнадцать верст; пока темно стало, ну тут Скобелев отбой велел трубить. А как они из ворот бежали, тут их артиллерия положила все равно как баранту; человек по сту разом падало под картечью. Персов мы у них в железах сколько нашли, Персиянок! Сейчас же их — марш куда хочешь! на все четыре стороны. Они и Текинок хороших с собой увели, и своих жен. Что ведь только творили Текинцы над этими Персами, да над Бухарцами, — уму помраченье! Те их хуже огня боялись. Один бы Текинец пришел, целый бухарский город забрал. Бухарцы — те народ смирный, купцы все больше, ну, а эти — зверье! А только дюже честны, никаких грабежей и разбоев. Два эскадрона милиции из них набрано за жалованье, по доброй воле, а так в рекруты не берут. А подати с них сходит всего по пяти рублей с кибитки. Я ведь теперь в Чарджие служу, там войско наше стоит, а город сам бухарский. Хан дозволяет, потому мы теперь в мире с ним. Пока жив, — потоле он хан, а помрет — под Рассею Бухара отойдет. Бухарцы ждут не дождутся, потому что им от него разорение-половину жатвы себе хан у них берет. В Бухаре теперь куда хочешь иди, все равно, как в Рассеи, пальцем никто не тронет. Солдаты ихние по нашему обучены, наши же унтер-офицеры из казанских Татар их учили, даже честь делают офицерам нашим, коли в кокарде или при сабле. А жить дешево — страсть! Пять копеек говядина лучшая, в Самарканде так еще и три копейки, семьдесят копеек яиц сотня всю зиму, дыни и теперь еще свежие, за три копейки арбуз лучший на выбор! расхваливал нам свою привольную жизнь в Бухарском ханстве лихой ветеран. [65]

Кахка — род маленького городка. Тут казармы казацкой артиллерии и стрелкового батальона, тут очень большой аул с кибитками и глиняными мазанками, с глубокими многочисленными арыками.

От Кахки горы удаляются и у Душака исчезают вовсе. Душак — самый близкий русский пункт от Мешеда, всего в 18 персидских милях, то есть во 126 верстах. От того здесь учреждена пограничная таможня для персидских товаров. Пошлина, по здешнему пач, взимается в размере 1/10 цены товара; взимает ее особый пачиман из Текинцев, живущий в соседнем ауле. На каждые десять рублей, которые он собирает в пользу таможни, он получает один рубль в свою пользу. Таких пачиманов четверо в Закаспийской области. Как ни странно для непосвященного в дело это доверие дикарю-Текинцу сборов государственной таможни, однако, по уверению местных знатоков края, при настоящих условиях только туземцы-Текинцы, которым ведома малейшая тропинка в горах, в состоянии уследить за всеми изобретательными плутнями Персиян по части контрабанды и разного обмана на провозимом товаре.

За Душаком кончается Ахал-Текинский оазис, и поезд попадает опять в пустыню. Кусты саксаула сразу говорят вам о начинающемся царстве песков. Про самом въезде в пески мимо поезда промчалось стадо

джейранов, сильно возбудившее мое любопытство. Я в первый раз видел джейранов на воле и в таком многолюдстве. Эти хозяева песчаных пустынь зимой то и дело перебегают железную дорогу. Их водится тут такое множество, что целая тушка продается зимой по двадцати и тридцати копеек. Летом они поднимаются в горы, за персидскую границу, где их не останавливают никакие пачиманы и где им готовы превосходные лесные луга. Кабаны тоже держатся во множестве у подножие гор и на горах. Когда строили здесь железную дорогу, то убивали пропасть кабанов даже в степных камышах.

В Теджене поезд стоит более трех часов, непостижимо зачем и почему.

Теджен — нечто в роде городка, на реке, которая Туркменами называется тоже Тедженом, но в географии более известна [66] под именем Гери-Руда. На этом Гери-Руде стоит наш Серахс, а далее афганский Герат.

Гери-Руд — это единственные ворота в Афганистане, поэтому понятно, почему Русские дорожили овладеть его течением. Вместе с тем Гери-Руд и наша граница с Персией. Его левый берег принадлежит к Хорасану, а правый — к Тедженскому уезду Закаспийской области.

Повидимому, по течению этого Гери-Руда находилась и древняя Ария, колыбель Арийских племен. Птоломей и Страбон помещают ее именно на восток от Парфии, то есть, теперешнего Хорасана, на юг от Маргианы, теперешней Туркмении.

Ария называлась по имени реки Арии, на которой стоял город Ария, то есть нынешний Герп или Герат, стоящий тоже на реке Гери-Руде.

В настоящее время вместо Арийцев, или Иранцев, долина Гери-Руда захвачена кочевыми Туранцами. Текинцы еще в 1835 году построили на Гери-Руде укрепление Теджен, или Ораз-Кала. Они вытеснили отсюда на Мургаб другие туркменские племена Сарыков и Салоров, а в 1857 году выгнали Сарыков и с Мургаба, отняв у них Мерв и отодвинув их южнее, к Пенджде и Афганистану. Салоры при этом передвижении тоже были потеснены и перебрали опять на Гери-Руд, южнее Серахса, к самой афганской границе.

Персы и Хивинцы не хотели позволить своевольным кочевникам захватывать любые места и все время воевали с ними, но к несчастью своему неудачно. Хивинский хан Магомет-Эмин был жестоко разбит Текинцами в 1855 году на реке Теджене, у Серахса, взят в плен и в плену зарезан, по любимому обычаю Туркмен. С тех пор Текинцы перестали платить Хиве даже ту ничтожную дань, которую они платили больше для счета (по одному верблюду с аула), и задали страху пограничной Персии!

Тедженский уезд один из богатейших в Закаспийском крае по условиям своей природы. Тут множество чрезвычайно плодородных влажных низин, заливаемых рекой, заросших чисто тропическими лесами, изобилующих всяким зверем и птицей. Культура многих дорогих южных растений здесь могла бы привиться чрезвычайно легко и вознаградить сторицей. [67] Но за то климат по реке Теджену убийствен своими лихорадками, так что о русской колонизации этой долины и думать нельзя. Тигры тут ежедневные гости и постоянные обитатели непроходимых плавней.

Я разговорился в грязном и тесном буфетике станции с одним из служащих на железной дороге.

— Знаете, какая у нас история на днях была, между прочим, рассказал он мне. Сидим мы на станции, днем, всякий за своим делом, вдруг слышим — неистовый рев... Прислушались, — тигр, сомнения никакого нет. Охотников тут нас много, человек семнадцать, у всех ружья хорошие и народ опытный. Зарядили ружья, идем осторожно на рев всею толпой, — смотрим, здоровеннейший тигрище королевский; аршина четыре длины, бородатый такой, пушистый, — красота одно слово! — в капкан попался и ревет так, что волосы дыбом становятся. И попался-то как скверно, чуть лапу ему одну прихватило. Того и гляди, вырвется и пошел косить направо, налево... Остановились мы шагах в пятидесяти от него и хватили все разом из семнадцати ружей. Так что ж бы вы думали? Пули уж, конечно, все в него вцепились, а он, анафема, прыгает и рвется, как ни в чем не бывало! Пристрелили уж его восемнадцатою пулей, повалился наконец! Вот ведь на пулю, как крепок! Упал он, лежит и не движется, а мы все труса празднуем, никто подойти не хочет, даром, что ружья у всех. А ну, думается, как он очнется, да вскочит! Там после, что хочешь ему делай, а он с тебя рубашку кожаную живо снимет!.. Уж Текинец-джигит подкрался наконец к нему, увидел, что убит; тогда только и мы подойти решились. Вот я вам доложу, какая это штука! Семнадцать человек и то трусят. А по ночам, так мы здесь на станции друг к другу в гости из флигеля во флигель боимся перейти, потому что тигры бродят везде, им и жилье, и дорога-все ни почем. Кто его угадает, когда он вздумает навестить нас?

Отвратительно грязный станционный буфет оказался еще и угарным. Но есть не на шутку хотелось, ожидать нужно было долго и пришлось волей-неволей приютиться здесь. Устроили [68] свой чай, заказали котлеты и яйца, и кое-как высидели эти унылые три с половиной часа, болтая с кем приходилось.

Тихий розовый вечер сменился глухою черною ночью. Многие из наших пассажиров храпели, растянувшись где попало, на лавках, на диванах. Когда все стихло в шумной станции, я вышел на площадку. Кучка Персиян сидела в темном уголку, не спешно перекидываясь словами с русскими рабочими, присоседившимися к ним. Персияне возвращались на родину с одной из мервских ярмарок, Русские ехали из матушки России в Султан-Бендское имение Государя. Я издали прислушивался, весь переполненный внутренним смехом, к этой оригинальной беседе.

Персияне не знали ни одного слова по-русски, Русские ни одного слова по-персидски, а между тем беседа велась горячо, долго и последовательно, и все о материях серьезных. И собеседники, к удивлению моему, отлично понимали друг друга. Зачинщиками беседы, повидимому, были наши. С непоколебимою уверенностью, что на православной Руси все делается по Божьему, по настоящему и что ни у кого другого ничего подобного быть не может, — Русаки, все больше молодые ребята, с несколько презрительною иронией поучали Азиятов, как у нас на святой Руси народушко пашет и косит, и молотит хлебушко. Персы со своей стороны не уступали и на перебой с нашими показывали им и руками, и глазами, и языком, как делается у них. Затрагивались все предметы осязательные, всем одинаково близкие и знакомые, так что демонстрации с помощью пальцев были вполне достаточны для того, чтобы слушатели обоюдно усваивали эти лекции наглядного обучения своих добровольных профессоров.

Смелые русопеты без раздумья и ничто же сумняся валили из своей Калуги в «Мевру», как они называли Мерв, движимые темным слухом, что вызывают сюда «в забранный край» народушко рассейский на какие-то «царские работы». Эти «царские работы», разумеется, выросли в нечто мифологическое, чему всегда так охотно, с младенческим легкомыслием, верит бородатый и даже седой деревенский люд, раз его всколыхнет необходимость двинуться на какие-нибудь кисельные берега.

— В Мевру как придем, сказывали нам люди, — так чтоб сейчас станции начальнику объявить, сколько кто верст [69] с Рассеи прошел... Денежки все тебе зараз и вернут кто что протратил, потому царская работа! На топор, сказывают — пятьдесят серебра в месяц! И харч казенный! с рассудительным видом сообщал мне один из этих бестрепетных странников.

— Оно б и в Асхабаде пристать нам можно было! вмешался другой. — Там от царя так положено, что все тебе казенное предоставляется, вся плепорция: дом готовый и лошадь с сохой, опять же корова и 33 года податей не платить, да отсоветовали люди: говорят, с лихорадки джуге много помирают, климат не нашинский...

Вот и подите с ними! И даже когда побывают на «царской работ», когда сами поживут в Асхабаде, а все-таки, возвратясь на родину, будут рассказывать те же утешающие их сердца небылицы и о пятидесяти серебра в месяц на топор, и о казенном доме с сохой.

Я сошел с террасы и прошелся несколько шагов за станцию в темноту южной ночи. Там путешественники совсем иного характера: человек десять Текинцев прикурнули на каменной стеночке, в суровом молчании созерцая вторгшуюся в их суровую и безмолвную землю чуждую жизнь с ее шумом и суетой, эту волшебную, огнем дышащую машину, эти протянутые через их пустыню говорящие проволоки, эти непонятные им обычаи, одежды, физиономии...

Штук десять верблюдов лежат и стоят тут же, неподвижною кучкой, не развьюченные от своих громоздких подушек, — седел, погремывая цепями, как отдыхающие колодники, вытянув вперед свои загадочные

библейские головы, поджав под себя наморившиеся мозолистые ноги, словно они молят Бога поскорее прекратить их злополучную жизнь вечного труда и рабства...

Седой грязный старик-Текинец восседает около них караульщиком на целой гряде мешков.

Это они привезли свой хлеб из аула для отправки по железной дороге в Мерв. [70]

V.

Базары Мерва.

В Мерв мы приехали рано утром. Полуголые босоногие амбалы (носильщики) подхватили и навьючили на себя наши пожитки прежде чем мы успели оглянуться, хотя нам самим пришлось взять извозничью коляску, величаемую здесь фазтоном, как и везде на южных окраинах России, от Одессы и Кавказа до Ташкента и Кокана.

Извозчики здесь парные, с просторными и приличными экипажами, на лихих лошадях, не чета нашим русским. Их тут множество, и все больше Армяне из Ганжи, Шуши и др. закавказских городков. Есть немного и Русских, но те пооборваннее и похмельнее. Вообще Армянин — обычный торговец и промышленник Азии. Он освоился с нею, как с родным домом еще в ветхозаветные века и безо всякого труда пускает здесь корни везде, где ему это нужно. И к нему здесь привыкли с незапамятных времен, так что даже в самых диких местностях он является чем-то вполне естественным, вполне на своем месте.

В этом смысле можно, пожалуй, считать Армянина передовым цивилизатором азиатской дичи. Только цивилизация эта, разумеется, не выходит из пределов лавки, питейного дома и приютов покупной любви, да разве еще конторы ростовщика. Армянин вместе с тем является и самым подручным толмачем в сношениях Русских с завоеванными ими глухими уголками Азии. Хорошо ли, дурно ли, а он непременно раньше всех заговорит с каждым азиатским племенем на его родном языке. Еврей за то тут не имеет особенного значения; могучая армянская раса подавляет его здесь на всех поприщах корысти и делает для него конкуренцию почти невозможную. Где завелся Армянин, жид стирается сам собою, все равно, как мыши исчезают из того подполья, где хозяйничает крыса.

Нас водворили в нумерах с очень подозрительным титулом «Эльдорадо», которые однако считаются здесь наиболее приличными. Испания и Италия напоминали себя только полною [71] бесцеремонностью обстановки и совершенным пренебрежением к зимнему холоду. Все помещения рассчитаны на прохладу, и потому спальни безо всякого посредства сеней и передних выходят на открытую внутреннюю галлерею. Маленький нечистоплотный дворик, долженствующий вместе с тем служить и садом, наполняет своею сыростью, а подчас и миазмами, все эти тесные каменные клетки, открывающие в него свои окна и двери,

и совсем отвернувшиеся от солнца. Впрочем, стол в Эльдorado недурен. Содержит эти нумера Итальянец, попавшийся в плен к Русским в Севастопольскую кампанию и женившийся потом на казачке весьма серьезных размеров. Сеньор Ш., надо признаться, весьма обязательный человек, отлично знакомый со всем, что может понадобиться туристу в этом новорожденном городке.

Мы, конечно, не стали долго кейфовать в своих полутемных нумерах, вероятно, очаровательно прохладных в июльский шестидесятиградусный зной, — и вместе с нашим Американцем отправились на осмотр города.

Как раз рядом с Эльдorado расположен один из туземных караван-сараев.

Просторный двор обнесен со всех сторон частью каменной оградой, частью низеньким каменным жильем.

По середине двора, привязанные ко вбитым в землю приколам, кормятся поодаль друг от друга характерно сгорбившись костлявыми хребтами сухие и крепконогие текинские кони. Все они, как любимые дети, укутаны чуть не до ушей в войлоки, ковры и попоны, которыми Текинцы старательно одевают их не только зимой, но и в развал летних жаров. Немногие из них замечательной красоты, большею же частью кащеи бессмертные на высоких ногах, с длинными худыми шеями и обвислыми крупами. Но несмотря на свой жалкий вид, все они удивительные скакуны, выносливые, быстрые, нетребовательные; они славятся этим с незапамятных времен далеко во всей Азии. Им ничего не стоит проскакать без передышки каких-нибудь 25 верст, и при этом их можно поить после какой угодно горячей езды. Надо сказать, что и сидят на этой удивительной лошади тоже удивительные всадники: Туркмен ездит очень некрасиво и неуклюже в своем халате по пятки; но за то он безо всякого утомления высиживает на седле по 500, по 600 верст сряду, шутя делая такой путь в пять, [72] шесть дней. Кормят Текинцы своих знаменитых коней не какою-нибудь белояровою пшеницей, а совершенно оригинальным кормом: они пекут им, как людям, как почетным гостям своим, лепешки из ячменной и кукурузной муки на бараньем сале. Еще при Тамерлане туркменские лошади составляли такое богатство этого народа, что великий завоеватель Азии нарочно пригонял из Аравии по несколько тысяч кобылиц дорогих кровей и раздавал их для приплода кочевникам Туркестана. Несомненно, что теперешняя текинская лошадь обязана много этому облагорожению крови своей арабскою кровью. На дворе — смешение всех языков. Артель казаков приютилась рядом на бурках и под бурками на самом припеке раннего солнышка.

Таранчи в белых войлочных колпаках и полосатых халатах, с потешными китайскими рожами, похожие издали скорее на каких-нибудь калмыцких баб, чем на мужчин, запрягают быков в свою громадную двухколесную арбу, на которой они притащились сюда из далекой Кульджи, чтобы поселиться по вызову властей в окрестностях Старого Мерва у Султан-Бендской плотины, где уже работают не мало их земляков.

А вон Туркмен из племени Ерзарп, с берегов Аму-Дарьи, полуголый атлет варварского вида, с бронзовою грудью навывате, отчаянно рубит топором крепкий как кость рогатый саксаул.

Тут и лукавый Сарт из Бухары, и чванные щёголи-Персияне в своих тщательно раскрашенных и еще тщательнее обстриженных бородах.

Мы заглянули и в бесхитростные жилые конурки караван-сарая, двери которых всю ночь открыты во двор; там темно и тесно, чтобы только можно было правоверному протянуться на досчатой тахте, на которую он стелет всегда ему сопутствующие тюфячки, ковры и подушки; большие медные кубчаны с водой для омовения, — единственная туалетная потребность восточного человека, составляет и единственную утварь этих непрехотливых келий. В других комнатках караван-сарая сложены тюки товара, которые знающие люди обыкновенно покупают здесь из первых рук по сходной цене, пока товар не попал в более ловкие руки базарных торговцев.

Можно сказать без преувеличения, что во дни Тамерлана или [73] Али-Бабы из «Тысячи одной ночи» — обстановка восточного путешественника ничем не разнилась от того, что было теперь пред нашими глазами.

Разговорчивый казак из Осетин, служащий в качестве джигита у генерала Куропаткина, разболтался со мною, заметив мое любопытство.

— Вы не смотрите, ваше благородие, что они на вид плохи... мотнул он головой на привязанных лошадей... глядеть на них гроша не стоят, а сядешь на все-все отдашь! Устали, каторжные, не знают; словно каменные! вот мы почитай пять дней с них не слезали, только нынче в первый раз расседлали, да ведь скакали как, без передышки; цены коням этим нет!

— Вы откуда же едете? спросил я.

— А из Герата! там мы фураж закупаем для пограничных войск. Отсюда возить далеко, убыточно, так больше у них покупаем.

— Разве наших пускают теперь в Герат?

— Нет, оно по настоящему не велено пускать; коли господа какие наши большие поедут, то, пожалуй, и не пустят. А мы проезжаем себе помаленьку, ничего... На нас кто станет там смотреть?... приедешь себе на базар, купишь, что тебе следует, да и гайда домой... Народ там тихий, обходительный, обиды никакой от него нет...

— А дороги ж тут текинские кони? осведомился я.

— Да разные есть, ваше благородие, как и у нас в России. Вон за те, что вы смотрите, рублей по 120, а то и по полутора ста отдадите. Ярмарки тут частые, каких хотите можно купить. Я таки, признаться, свел троичку к себе домой, на Терек, как в отпуск ездил...

Мерв, несмотря на свою молодость, уже стал теперь изрядно большим городком. Он расселился по обоим берегам Мургаба, но пока больше на левом берегу его. Там почти все частные дома, вся торговля. За то на правом берегу, где еще высятся полуразрушенные глиняные стены текинской крепости Коушут-хан-кала, — сосредоточились мало-по-малу все казенные учреждения и здания, казармы, квартиры военного начальства, [74] церковь. Несомненно, что в недалеком будущем эта правая сторона станет главным ядром города и перетянет к себе все зажиточное его население, так как здесь больше простора и безопасности; на левом же берегу останутся полуазиятские домишки и азиятские базары.

Был базарный день, и нам посоветовали посмотреть мервский базар, один из самых характернейших в Азии. Чтобы лучше освоиться с особенностями этого оригинального города, мы с мистером Крэном и сопровождавшими нас туземными жителями отправились пешком, заходя по пути во все уголки, которые нас интересовали, и останавливаясь чуть не на каждом шагу пред сценами и типами, от которых впечатлительный художник пришел бы в неописуемый восторг.

Мы прошли базарами армянским, текинским, еврейским, персидским, бухарским... У Евреев был какой-то их праздник, и они сидели на полу своих лавочек щегольски разодетые в общевосточные костюмы, которые они здесь носят наравне с другими Азиатцами, на самых парадных ковриках и войлоках своих, вокруг тарелок с шепталой, кишмишом, орехами и всякими восточными сладостями, очевидно угощая своих гостей этим неизбежным на Востоке «достарханом».

Базары, которые я только что назвал, это то, что у нас в России называется «гостиным двором», ряд тесно скученных друг с другом лавок, расположенных только не по роду товаров, как у нас в Москве или Питере, по ножевым, сундучным, перинным, суровским и всяким другим линиям и рядам, а по национальностям купцов.

Но тот базар, на который мы шли, это маленькая ярмарка своего рода, вполне соответствующая нашему русскому названию базара, народного торжища на открытом воздухе в определенные дни.

Этот базар собирается за городом, на просторном зеленом выгоне, незаметно сливающимся со степью.

Кочевнику и невозможно бы было собраться для торга ни в каком другом месте. Он двигается сюда из родных степей как надвигаются его ползучие пески, как стекаются его горные воды, — со стихийною

повальностью, целыми полчищами, целыми аулами, забирая с собою жен, детей, стариков, гоня пред собою вереницы верблюдов, стада баранов... Ему нужно [75] много простора и много времени. Оттого-то мервский базар кипит до позднего вечера.

Глазам не верилось, глядя на это повсеместное непрерывное течение со всех сторон скота и народов, начавшееся с раннего утра и продолжавшееся целый день... И узкие улицы городка, и широкие дороги, сходящиеся к городу из разных степных аулов, были заполнены этим наводнением яркой и пестрой толпы.

Ехали, ехали мимо нас друг за другом нескончаемые вереницы и кучки азиатских всадников, и дожидаться было нельзя, когда проедут они. Да и понять было нельзя, где умещает в себе такое многолюдство маленький Мервский оазис? Безбрежная степь словно рождала их из своих недр и высылала сюда, как тучи внезапно отроившейся в ней саранчи.

Моей фантазии художника так живо рисовались картины когда-то былых грозных нашествий на цивилизованный мир степного варварства, или шумных сборищ азиатских фанатиков на какой-нибудь «газават», — священную войну против неверных.

Ехали на лошадях, ехали на ослах, ехали на верблюдах. Пыльные и потные верблюды, словно насквозь проступившие бурым цветом той глины и тех песков, которые они терпеливо топчут своими лохматыми толкачами, с флегматическим спокойствием прирожденного раба, мерно шагают друг за другом, привязанные к седлам один за другим черными волосяными веревками, с цепями на конце, погромыхая ради развлечения кольцами этих рабских цепей и висящими у них на шее, тоже в виде рабского ошейника, грубыми медными бубенцами.

По пять, по шесть, по десять этих громоздких ветхозаветных скотов, нагруженных товарами, связаны в одну вереницу, и впереди нее какой-нибудь темнобронзовый старик с окладистой серебряною бородой, сидя на крошечном ослике, ведет за собою на такой же длинной волосяной веревке весь этот библейский караван. Это «лауч» верблюдовожатый.

Несмотря на жар, он в громадной лохматой бараньей шапке и в ватошном бешмете, настезь распахнутом, на костлявой коричневой груди, обросшей, как у зверя, клоками седой шерсти.

Он сидит боком на своем ослике, спустив через вьюк свои голые, до кости высохшие, обезьяньи ноги, с болтающимися [76] на них туфлями, и кажется вдвое больше и вдвое тяжелее жалкого ушатого теленочка, который бойко селенит под ним своими крепкими маленькими копытками.

На лошадях ездят не только по одному, но то и дело по два, по три и даже по четыре на одной лошади. За Текинцем-хозяином, самодовольно восседающем на седле, присоединяются сзади, ухватившись за него, его жены или дочери, а на коленях их частенько еще какой-нибудь мальчишка или девчонка.

Словом, целая кочевая кибитка взбирается на хребет выносливого степного конька, и он рысит йод нею совсем легко и свободно, до того это ему не в диковинку.

Многие не только едут, но и везут что-нибудь с собою: у кого несколько верблюдов с коврами, паласами, холстами, куржинами; у кого пара осликов, спрятанных совсем с ушами в вязанках свежей «юрунджи» (люцерны), или наломанных веток саксаула, сухого верблюдятника, самана... А у иных еще более оригинальный товар: по обоим бокам коня десятки живых кур и петухов, связанных друг с другом и болтающихся вниз головой, как связки бубликов. Это уж совсем по-текински!

Еслибы время было другое, эти лихие торговцы не прочь бы были, пожалуй, приторочить к своим седлам, хотя бы тоже ногами вверх, многих из любопытных зрителей, теперь удивленно глазающих на них, и въехать с таким завидным товаром на свой любимый базар. Стоит взглянуть только на эти суровые коричневые лица с жестким и твердым взглядом, напоминающим беспощадно-неподвижный зрачок крупного хищного зверя, льва или барса, чтобы понять, какой это народ движается пред вами. Особенно характерны в этом смысле и как-то уродливо страшны закоренелые в разбоях старики, редкозубые, безбородые, резко-монгольского типа и темной досиня кожи, кажущиеся совсем синими от своих бритых висков, бритого лба, бритых затылков...

Но и остальная публика тоже не особенно располагает к доверию и дружбе. Все это большею частью атлеты огромного роста, плечистые, сухие, мускулистые; такого зверя, сейчас видно, не скоро одолеешь, и уж, конечно, не в одиночку. Самые храбрые русские солдаты, увешанные Георгиями и собственными руками забравшие этот край, откровенно признавались мне, что на одного Текинца всегда было нужно нескольких Русских... [77]

Я уже говорил раньше, что характернейшая черта текинского лица — большой и очень низко поставленный рот. Он-то и придает этому загорелому скуластому его лицу животное и даже зверское выражение. Черная лента коротких волос сплошь опоясывает обыкновенно лико молодого Текинца от виска и до виска, заменяя собою бакенбарды и бородку, и немножко, пожалуй, напоминая характерные бакенбарды, окаймляющие кровожадную морду тигра, — земляка и довольно близкого родственника Текинца по вкусам хищничества.

Одежда Текинца удивительно мало подходит к его ловкости, силе и удалству. По всем ухваткам своим — Текинцы чрезвычайно напоминали мне дагестанских Лезгин. Но в то время как кавказский горец одевался в живописный и удобный наряд, отлично принаровленный и к верховой езде, и к лазанью по горам, текинский атлет уродует себя неуклюжими ваточными халатами, громоздкими, широкими, долгополыми, с рукавами, из которых трудно вынырнуть руке... В халатах этих он смотрит каким-то муллой или купцом, а уж никак не наездником.

К этому нужно прибавить, что на Туркменце вы не видите оружия, как на кавказском горце, до зубов увешанном патронами, пистолетами, кинжалами, шашками, винтовками...

Туркмен коварно прячет в складках широкого пояса только один свой разбойничий нож, которым он не рубится открыто со врагом, как лезгинский витязь, а режет горло поверженному или плененному врагу, как мясник барану.

А между тем в битвах и набегах он умеет быть ловким и отчаянно храбрым, несмотря на свои халаты и свое далеко не рыцарское вооружение. Для этого, конечно, нужна была практика многих веков. Суровая школа постоянных опасностей, постоянной разбойничьей жизни научила поневоле смелости и проворству. А когда испытаешь на собственной шкуре хотя в самом ничтожном размере жгучий летний зной и невыносимые зимние стужи со всех сторон открытой, бесприютной и безлюдной пустыни, то поймешь, что не пустой каприз заставляет здесь даже лихого наездника кутаться в теплые одежды от макушки до пяток. Это не кавказские теснины, загороженные отовсюду стенами скал, не кавказские леса, недоступные ветрам степей. Мало того, что люди здесь так кутаются; даже верховые лошади Текинцев, знаменитые своею [78] беспримерною выносливостью, постоянно укутаны попонами и коврами: щегольски расшитый чепрак покрывает обыкновенно текинского коня, а сверху седла еще кладется несколько попон.

Нигде, конечно, вы не увидите такого множества текинских лошадей, и таких хороших лошадей, как на мервских базарах.

Самые красивые кони, гарцующие под воинственными туркменскими всадниками, разубранные как жених на свадьбу в свои яркие чепраки и уздечки, не продаются, впрочем, ни за какую цену. Туркмен гораздо скорее продаст свою жену и детей, чем любимого испытанного в опасностях коня.

Я никак не мог наглядеться на своеобразную картину этого все больше и больше разраставшегося пестрого и шумного нашествия степняков. Но этот совсем новый для меня мир, эти никогда мне неведомые типические фигуры степных кочевников, их посадка, их одежды, их товары, вместе с тем казались мне давно знакомыми до самой последней мелочи, где — то уж виденными и крепко врезавшимися в моей памяти.

Не без усилия дал я себе отчет в этом странном впечатлении. Предо мною вдруг воскресли, как живые, художественные создания Верещагина, воплотившие на полотне всю характерную этнографию Центральной Азии, с ее базарами, мечетями, дворцами, все разнообразные типы этих фанатических халатников, Бухарцев, Хивинцев, Туркмен, во всех подробностях их повседневной жизни. До того бывает поразительна сила художественного изображения!

Но если вся окружающая степь, все окрестные дороги кишели двигавшимися всадниками, пешеходами, караванами, то ярмарочный выгон был буквально затоплен народом и скотом.

И все это сплошные бараньи шапки громадных размеров, целое море розовых полосатых халатов, бумажных и шелковых, натянутых поверх других халатов и бешметов того же цвета. Это господствующий вкус мервского Текинца. Почти все они при этом в туфлях на босу ногу, и только у немногих богачей надеты расшитые ноговицы. Но среди них много и других не менее характерных нарядов. Тут образцы всех племен и народов Азии, от Индуса и Афганца до [79] Киргиза и китайского Таранти. Яркие разноцветные чалмы бухарских и самаркандских Сартов, голубые чалмы Ташкентцев, белые войлочные колпаки Таранчей из Кашгара, с угловатыми разрезами полей, киргизские мурمولки, черные сахарные головы персидских шапок, прихотливо увязанные роскошные кисейные тюрбаны мусульманских Индусов, — все это мелькает и двигается среди сплошного потопа лохматых туркменских папах и розовых туркменских халатов. Женщины тоже тут, но их уже далеко меньше. Меня насмешила оригинальная мода этих черномазых красавиц. Они бесцеремонно натягивают на голову рукав шелкового халата и в такой импровизированной мантии, с болтающимся чуть не по земле другим рукавом, разгуливают себе по улицам и базарам.

Весь этот парод больше галдит и толчется безо всякого дела, чем продает и покупает. Базары — это обычный всенародный клуб восточного человека, где он видится со всеми, с кем ему нужно и не нужно, где он узнает все новости дня, от политических событий далеких царств до последней сплетни какой — нибудь степной кибитки. Без базаров жизнь была бы не в жизнь ленивому и всегда праздному восточному человеку. Тут он, конечно, и развлекает себя всяким питьем и едой, курением кальяна, пересмотром привезенных товаров...

Оттого-то кухоньки, чайные лавки, продажи сластей-тут на каждом шагу, прямо на открытом воздухе, под сенью разбитых шатров, под тенью дерева, но всегда однако на коврике, на войлочке или на деревянных низеньких подмостках, в роде широчайших кроватей на коротеньких ножках. Целыми десятками чинно усаживаются рядом в тени от солнышка полосатые халаты и не спеша потягивают из больших фарфоровых чашек без блюдцев, величиною с наши обыкновенные полоскательные чашки, неизобразимо жидкий, но вместе с тем неизбежно дешевый зеленый чай, который в громадных количествах привозится для туземного потребления Персиянами из Индии.

Кофе, — неизбежный напиток турецкого, арабского и греческого востока, — совсем неведом в домашнем обиходе жителя Центральной Азии, Туркмена, Бухарца, Киргиза. Как запад Азии подвергся вместе с влиянием арабской цивилизации господству арабского кофе, так восток Азии и ее срединные [80] степные области подпали вместе с наплывом монгольского варварства повальному господству среди них китайского чая... Чай сделался до того необходимым ежедневным напитком степного Азиянца, что и Туркмен, и Сарт, и Киргиз, и Калмык — в дороге носят на поясе в числе важнейших путевых принадлежностей кожаный круглый футляр с чайною чашкой, одинаково удобною и для воды, и для чая. Лавочки-палатки мервского базара наполнены этими грубо разукрашенными футлярами из красной бараньей кожи, грошовой цены.

Нет ни одного глухого аула в Туркмении, ни одного мелкого кишлака в Бухаре или Кокане, где бы не было у проезжей дороги хотя какого-нибудь злосчастного чай-хане, чайной лавочки.

Мечети бывают нередко пусты, но никогда вы не встретите в Азии чай-хане, где бы в каждую минуту дня, с утра до глубокой ночи, — какой-нибудь правоверный мусульманин не утешался бесконечно долгим питием своего зеленого чая.

Наше русское чаепитие, считающееся чуть не прирожденным национальным свойством истинно русского человека, безо всякого сомнения, проникло к нам уже через посредство азиатского кочевника, как и многое другое в нашем домашнем быту, а от нас заразило мало-по-малу и всю Европу.

Жестокосердые и суровые Туркмены, как и все вообще азиатские народы, не отличающиеся, кажется, детскою чувствительностью, — странным образом питают истинно младенческое пристрастие к лакомствам всякого рода. Мы то и дело проходим мимо расставленных на траве громадных деревянных блюд, полных кишмиша, шепталы, орехов, леденцов и каких-то крученых из белого сахара персидских конфет, особенно соблазняющих этих шатающихся мимо бородатых ребят. Тут же открытые сверху шерстяные мешки с игдой, местною ягодой в роде кизилия или шиповника, и теперь уже обильно обсыпавшую деревья окрестных садов; чуть ли это не лаховник (*Elagnus*), растущий у нас в Крыму и на Кавказе. Мешки джугары, — лошадиного корма из рода сорго, величиной покрупнее конопли, — мешки муки, да ячменя, — вот почти и все бесхитростные съестные товары этого базара.

Возов нигде никаких, все привозится и увозится на хребте скота, в мешках, подвешиваемых к седлу верблюда, осла или лошади... [81]

Оттого-то и размеры этой вьючной торговли вызывают улыбку у русского человека, привыкшего видеть на своих базарах целые обозы и целые горы всякого рода припасов.

Также комично скудны товаром и остальные ярмарочные лавочки туркменской столицы, свободно умещающиеся не только в маленькой палатке, живописно украшенной внутри разноцветными узорами, но частенько в простом сундучке или на опрокинутом вверх дном досчатом ящике.

Туземный товар все мелочной и грошовый — тюбетейки, сафьянные туфли, нагайки, чайные чашки дешевого фарфора и кожаные футляры для них в виде круглых картузов с кисточкой, гаманы для медных денег, грубо расписанные, неуклюжие деревянные гребни, тыквенные кувшинчики для дороги, раскрашенные пестрыми букетами деревянные блюда и медные котлы — вот и все типично восточное, способное заинтересовать туриста. Остальной товар — почти все московский, конечно, самых гнилых сортов, даже с русскими ярлыками никому неведомых фирм: копеечные линючие ситцы ярких узоров, бракованная стеклянная и фаянсовая посуда и прочее, и прочее, хорошо нам знакомое по нашим уездным и деревенским лавочкам, с

небольшою лишь примесью необычайно узеньких и жиденьких и вместе с тем изрядно дорогих самаркандских и бухарских канаусов и адрасов.

Покупать проезжему тут ничего не стоит, кроме разве текинских ковров, которыми здесь дорожатся ужасно, которыми здесь надувают еще ужаснее, и которых на базар вывозят — вообще немного.

Главный торг, повидимому, идет здесь скотом. Стада черных длинноухих овец обложили кругом весь выгон. Рядом с ними какой-то другой сорт овец, более крупных, и, вероятно, более дорогих, бледно-желтоватого цвета с желторыжими ногами и ушами.

Утомленные верблюды лежат на своих мозолистых коленях, какие еще с тюками на горбах, какие в насквозь пропотевших громоздких седлах, высоко приподняв свои худые шеи и озираясь с выражением безмолвного презрения на суетящихся кругом двуногих и четвероногих тварей.

Множество лошадей расставлено отдельно друг от друга на приколах из уцелевших кое-где в земле корней кустарника; они то и дело закладывают назад уши и, злобно оскалив [82] зубы, подкидывают задом вверх, наровя хватить обоими копытами то в мимо протискивающуюся верховую лошадь, то в не кстати присоседившегося ослика. Вой ослов, рев проголодавшихся верблюдов, несмолкающее блеяние овец, мычанье коров, нетерпеливое гоготанье молодых жеребцов, крики продавцов и толкающейся толпы — сливаются в такой оглушительный, характерно-азиатский гул, которого не услышишь даже и на наших ярмарках.

Было как-то радостно встречать среди этого пестрого сборища всякой азиатчины знакомые белые рубахи земляков-солдати́ков, русских баб и девок, в тех самых нарядах и с тем самым говором, к которым так привыкли у себя на Руси и глаз, и ухо. Все они казались теперь моему сердцу близкими родными.

Русский человек — удивительно скромный человек. Он держит себя здесь, в стране завоеванной его кровью, как случайный прохожий, не суется вперед, не заявляет ничем своих особенных прав, никого и ничего не трогает, никому и ничему не мешает.

Я видел Англичан в Каире и вынес о них совсем другое впечатление, хотя они, кажется, не покоряли никогда Египта своим оружием.

Когда мы возвращались с базара, огромный верблюд, вероятно, истощенный долгою дорогой по пустыне, свалился с ног и загородил своею лохматою тушей весь переулочок...

Варвары-Текинцы, чтобы не хлопотать развешивать его, безжалостно колотили надорвавшегося труженика палками по морде, по глазам, но чем попало; бедное животное молча смотрело на истязателей своим безропотным взглядом «Адамовой овцы», как называет его наш мужик, и даже не увертывалось от ударов. Надели ему, наконец, на шею веревку и стали тянуть народом, но веревка только перетирала без того уже исхудавшую шею и бесполезно теребила обессиленную голову, ни на волос не шевельнув тяжелого туловища... [83]

Мы ушли глубоко возмущенные, не дождавшись конца этой туркменской операции. Но ведь в Мерве, конечно, еще не существует общества покровительства животным, к которому издыхавший верблюд мог направить свой последний протест.

VI.

В кибитке у Мурад-хана.

Мервская крепость — огромного охвата и еще сравнительно мало застроена; но пустыри ее уже размеряются и планируются. Старая текинская стена сложена, конечно, из глины и толста непомерно: в основании не меньше 6-8 сажень, по крайней мере в проездах; да и вышины в ней будет не меньше, если не больше. Она на половину уже обрушена и теперь представляет собою вид каких-то гигантских монистов, до того правильною цепью чередуются в ней промывы и обвалы глины. Местами уцелели и остатки таких же глиняных башен.

Степы эти построены были Текинцами после взятия Русскими Хивы в 1873 году, под впечатлением охватившего всю Азию ужаса и в ожидании возможного нашествия Русских. Весь Мервский оазис должен был спрятаться со своими кибитками в этой центральной твердыне, названной Коушут-хан-Кала. Но этой глиняной крепости не пришлось выдерживать испытания огнем и кровью, даже и после разгрома Текинцев под Геок-Тепе. Русские на Мерв не пошли, а через два года Мервцы сами сознали необходимость отдаться во власть России. Мерв был занят мирно, почти без выстрела; только небольшая дружина партии войны, не хотевшая принимать подданства России, села на коней и отправилась в степь, откуда некоторое время угрожала нашему гарнизону. Впоследствии и эти непримиримые мало-по-малу примирились и вернулись в родной город.

Поэтому в стенах крепости довольно долго располагались кибитки Текинцев. Только года четыре тому назад разогнали эти кибитки назад по аулам и стали понемногу переводить сюда с правого берега казенные склады, казармы, офицерские квартиры и разные официальные учреждения.

Теперь в крепости и прекрасное здание городской школы, и [84] публичный сад с летним театром, и другой большой сад вокруг дома окружного начальника. Вообще сады разбиваются здесь везде и растут не по дням, а по часам, с невероятною быстротой и легкостью. Дома все тут каменные, чистенькие и красивые, все с садиками. Казарм множество: и стрелкового батальона, и саперные, и артиллерийские, и казацкие. Войска здесь не мало, потому что на север их уже нет больше нигде до самого Чарджуй, а на юге войска стоят только в Серахсе, да на Афганской границе.

Русская церковь помещается не в самой крепости, а рядом с нею, в особом ее отделе, с особым въездом. Мы посетили ее на другой день, в Вербное Воскресенье. Жалкая глиняная клетушка, бедно и без вкуса убранная иконами, вся протекает насквозь, отмокает и обсыпается. Еслибы не скромный крест на срединной вышке, то и не узнал бы, что это православная церковь. Потолок срединной башни, приличия ради, подбит отдувшимся от сырости холстом, на котором выступают рыжими пятнами подтеки и ржавчины.

Теснота невыразимая. Хотя эта церковь и войсковая, построенная временно солдатами и для солдат, но сами солдаты должны молиться на дворе, потому что в этой глиняной часовенке насилу помещается и та горсточка местной служилой знати, которая собралась теперь в ней.

Американец Крэн приехал в церковь вместе с нами, и мне сделалось просто стыдно пред ним за нас, Русских. Американский поселенец, пахарь и дровосек, сядя на новое место, прежде всего, прежде собственных жилищ, строит общими силами приличный дом Божий и здание школы. А мы силами всего стомиллионного народа своего не можем устроить для воинов, за нас умирающих, сколько-нибудь благопристойную и поместительную церковь, распоряжаясь притом целою завоеванною областью. И это в то время, когда в том же самом Мерве Персы-пришельцы уже успели воздвигнуть на свои частные средства большую и красивую каменную мечеть, мимо которой мы только что проехали.

Не забудьте притом, что Мервская церковь единственная христианская святыня в целом мусульманском крае, и что грубые кочевники гораздо больше судят о достоинстве религии по ее доступным им внешним проявлениям, чем по мало постижимому им внутреннему содержанию ее. [85]

А кто знает, какое бы впечатление могла произвести на полудетское воображение Текинца и к каким добрым последствиям могла потом повести его благоустроенная православная служба в благоустроенном православном храме. Туркмены, по крайней мере, Текинцы-магометане больше по имени, чем в действительности. У них почти не видно мечетей и очень мало мулл. Духовная борьба с таким не твердым и мало искренним мусульманством далеко не так трудна, как с закоренелым фанатизмом мусульманских учителей в коренных очагах ислама, каковы, например, Самарканд, Бухара или хотя бы наша Казань.

Нам хотелось посмотреть поближе один из текинских аулов и побывать в их кибитках. У мистера Крэна к тому же был очень удобный прибор для ручной фотографии, с помощью которого он в одно мгновение снимал оригинальные тины и сцены, какие нам приходилось встречать. Быт текинской кибитки настойчиво просился под стекла этой фотографии.

Извозчик-Татарин в коляске на паре бойких лошадей повез нас троих, с переводчиком Имеретином на козлах, через крепость в ближайший аул. Аулы тесными дружинами облегли свою столицу, и дороги в них перекрещивают вдоль и поперек пустыри Коушут-хан-Кала.

Ярмарка не унималась до самого вечера, и навстречу ехали толпами и вереницами текинские всадники, шли на верблюдах текинские караваны.

За то аулы были чуть не пустые. Аул от аула отличить нельзя. Опи так часто сидят вокруг Мерва, что сливаются своими садами и виноградниками в одно сплошное громадное поселение. Все это — глиняные четырехугольные ящики без крыш, массивные и почти слепые, с крошечною дверочкой, с одиноким окошечком. Пристройка повыше играет роль башни на случай нападения и защиты. Рядом с глиняными домами, в перемежку с ними, и отдельно от них в садах и на выгонах аула, целые становища круглых войлочных кибиток с очень пологим верхом, формой точь-в-точь керосинные резервуары у наших железнодорожных вокзалов. [86]

Из мужчин в аулах оставались одни дряхлые старики и малые дети, но женщин видно было еще очень много. Они не закрывают лица, как другие мусульманки, и хотя несколько стыдятся и прячутся от взгляда чужого мужчины, да еще русского, но тем не менее смело перебегают от одной кибитки к другой, с жадным любопытством впиваясь глазами в мало еще знакомую им фигуру европейской женщины.

И я со своей стороны не насмотрюсь на их оригинальный и живописный наряд, напоминающий еще древних Парфянок.

Все они в малиновом и красном с головы до ног. Темно-малиновые балахоны по пятки, темно-малиновые высокие колпаки конусами на голове. Волосы заплетены в косы и на концах их висят по спине чуть не до самых колен хвосты из серебряных монет и серебряных гремушек. Как у Лезгинок и у Арабов, монеты вообще самое любимое украшение текинского прекрасного пола. Целыми бронями из монет увешана их грудь и даже живот, монеты на их острых колпаках, монеты на ермолках их детей, увенчанных оригинальными серебряными шандаликами. И как везде на Востоке, именно серебряная, а не золотая и не медная монета. На руках у них опять-таки серебряные, а не золотые браслеты, с красными сердоликами и другими местными камнями.

Красные колпаки здешних женщин обвязаны такими же красными и малиновыми платками, концы которых тщательно уматывают им нижнюю часть лица. Молодые Текинки довольно красивы и статны в этих своих

древнеазиатских костюмах. Но старухи их сущие ведьмы, сгорбленные, желтые, злые, с растрепанными седыми космами, с вечною руганью на языке.

В аулах шли кое-какие работы, занявшие нас своею оригинальностью. У одних кибиток бабы месили для построек глину с навозом и смазывали круглые жерла низеньких хлебных печей, стоящих прямо на дворе; у других мужчины толкли рис. Два босоногие оборванца, очевидно, нанятые поденщики, изо всех сил раскачивались на одном конце деревянного коромысла, которого другой конец долбил деревянным клювом, — легкое подобие толкачей на наших водяных мельницах, — насыпанное в ямке прямо на землю желтоватое сорочинское пшено. [87]

Старик-хозяин, усевшись на корточки, старательно подгребает рукой рис под деревянное долбило, не помышляя, по-видимому, ни о какой опасности для своих корявых рук.

Пока мы созерцали все это текинское население и работы его с высоты своей коляски, дело обстояло благополучно. Но только что мы спешились и обнаружили слабую попытку зайти в первую попавшуюся кибитку, как на нас бросились всякие двуногие и четвероногие звери. Лихие туркменские собаки ожесточенно рвали нас за ноги, а такой же как они бешеный старикашка в лохматой папахе на голове, в длинноволосой дубленой шубе ярко желтого цвета, — грудью загородил нам дорогу, изрыгая из своей беззубой пасти осипшим голосом какие-то непонятные нам увещания или угрозы. К нему стали подходить с разных сторон другие такие же босоногие и лохматые старики. Бабы и девки, до того толпившиеся на улице, разом испуганно шарахнулись по своим кибиткам, словно им и детям их угрожала от нашего пришествия какая-нибудь смертная опасность.

— Чего это он окрысился так, этот сумашедший старик? спросил я нашего извозчика, хорошо понимавшего по-туркменски.

Извозчик улыбнулся и покачал головой.

— Да как же ему иначе? сказал он. — Хозяева теперь, мужчины ихние, все на ярмарке, бабы одни в кибитках остались. Как же ему чужих мужчин к ним впустить? Вот с того-то и щетинится старый хрыч! добродушно рассмеялся он.

Мы тоже посмеялись над неожиданным переполохом, который мы наделали в ауле, и, побродив немного по его переулкам среди неоглядного становища кибиток, решили продолжать дальше свой путь.

— Вот мы к Мурад-хану заедем недалеко отсюда, тот пустит, к нему всегда начальники большие заезжают... Тот уж всякое обхождение знает! утешил нас извозчик. -У него не только кибитки, у него, посмотрите, дом какой! Хоть бы генералу какому жить. Потому богач! Земли сколько позабрал, сады большие, скота сколько...

Это ведь все его земли!.. Весь народ кругом на него работает из половины урожая! махнул он рукой на степь.
[88]

Высокий белокаменный дом Мурад-хана, с большими мавританскими окнами, с красивою решеткой на плоской крыше, может считаться настоящим ханским дворцом среди глиняных мазанок Текинцев. Но дом этот построен им только для показа, для хвастовства пред русскими властями, которые его иногда посещают. Мурад-хан считается аксакалом, то есть старшиной своего округа, и находится поневоле в частых сношениях с Русскими. В Мерве он играл прежде очень влиятельную роль, и его бывшее значение отчасти осталось за ним до сих пор. Он не попусту носит имя хана, и действительная власть его над окрестным кочевым населением далеко не умещается в одни только права аксакала, признаваемые за ним нашим правительством.

Впрочем, аксакал сам по себе имеет огромное значение среди кочевого населения, потому что он есть распорядитель воды, то есть живота и смерти степного жителя. Вода тут — всё. Продается и покупается тут — не земля, а вода. Землю без воды тут даром не берут; а земля орошенная — на вес золота. Аксакал судит и рядит все споры о воде и каждому жителю назначает срок, когда он может орошать свое поле водами арыка. В этом для него неистощимый источник доходов.

Мы однако не нашли Мурад-хана в его парадной европейской резиденции. В доме что-то перестраивалось, и к нашему большому удовольствию оказалось нужным ехать к нему в его становище.

Многочисленные кибитки домочадцев и подручников Мурад-хана разместились вокруг его ставки, в кустах и садах, на опушке степи.

Маленькое становище донельзя переполошилось, увидя нашу приближавшуюся коляску.

Изумленные фигуры то и дело выбегали и вбегали в кибитки, распространяя среди их наивного населения волнение и испуг.

Не доезжая до кибитки хана, нас торопливо встретили его верховые нукеры на богато оседланных отличных конях. Они проводили нас в ставку хана.

Вокруг нее уже успел столпиться народ. Текинцы глядели на нас с нескрываемым неудовольствием и подозрительностью. Особенно один старик резко-монгольского типа, совсем [89] безусый, с редкими

седыми клочками волос на подбородке, не мог подавить в себе кипевшей внутри его злобы и пожирал нас глазами ненависти.

Наконец в кибитку вошел и Мурад-хан, вызванный из другой кибитки, где жили его жены. Он сразу загородил и, казалось, наполнил собою все свободное пространство кибитки.

Черный, как Аран, громадного роста и богатырского склада, с узкими косыми глазами, выпяченными скулами и огромным звероподобным ртом, он был просто страшен и смотрел чистейшим Монголом. Я уверен, что сам Чингис-хан не показался бы мне таким характерным монгольским варваром, как этот туркменский атлет. Такого аксакала поневоле послушаются самые непокорные дикари.

Мы обменялись приветствиями через переводчика-извозчика, потому что Имеретин м-ра Крэна хотя и говорил по-татарски, но туркменского диалекта понять не мог.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я встретил вас не в капитанском мундире и без ордена, прежде всего велел передать нам Мурад-хан, очевидно, желая сразу дать нам понять, что он имеет русский военный чин, которым Туркмены гордятся превыше всего. — Я очень жалею, что не знал о приезде таких почетных гостей, иначе бы я приготовился как следует...

— Напротив, нам гораздо любопытнее видеть вас в вашей природной одежде, отвечали мы ему устами своего возницы. — Мы приехали издалека, из-под самой Москвы, первый раз в туркменскую землю, и нам хочется видеть как живут и чем занимаются Туркмены. Оттого-то мы позволили себе побеспокоить вас и просим теперь показать нам ваше житье...

— У нас нет никаких хороших вещей, которые есть у Русских, отвечал Мурад-хан. — Мы люди простые и бедные, все делаем сами и довольствуемся самым необходимым... Вот видите мою кибитку, прибавил он, обводя ее самодовольными глазами. — Вот и все наши богатства. На что тут смотреть?.. В Москве разве вы то видели?..

Кибитка была однако обставлена далеко не бедно. Вся она была укрыта по полу и по стенам коврами и ценовками; кругом стен стояли тесно друг к другу и друг на друге раскрашенные цветами по белой жести сундуки московской работы, самодельные грубые шкатулочки, полосатые шерстяные мешки [90] с мукой, рисом и просом, громадные голубовато-пестрые кувшины о трех ручках, способные вместить в себя не несколько ведер вина или масла, деревянные точеные кувшинчики для воды, оправленные медью, оригинального восточного рисунка, стеклянные кальяны и всякая всячина.

Кибитка эта была, повидимому, столовою, потому что в ней не было видно ни тюфяков, ни подушек, обычных принадлежностей азиатского жилья. На стенах не висело никакого оружия, а только богатая конская

сбруя, отделанная серебром и сердоликами, да музыкальные туркменские инструменты в роде гитар или балалаек с очень длинными ручками и очень маленьким пузатым корпусом.

Остов кибитки — это решетка из гнутых деревянных прутьев какого-то очень крепкого дерева, прочно увязанная веревками и плотно обтянутая войлоками, вверху ее — отверстие, на которое в непогоду натягивается веревкой тоже войлок. Но обыкновенно в отверстие это глядит ясное южное небо и поднимается дым от очага, горящего чуть не целый день по середине кибитки. Огромный низенький котел, накрытый деревянною крышкой, стоял на очаге и во время нашего прихода, но огня под ним не было.

Нам принесли откуда-то три венские плетеные стула и усадили на них около очага, чтоб окончательно убедить нас в цивилизованности капитана и кавалера российской армии.

У нас нынче рамазан, мы ничего не готовим и не едим до ночи, извинился Мурад-хан, поэтому мне нечем угостить почтенных моих гостей, но еслибы вы посидели у меня немного и выпили по стакану чая! У меня есть русский самовар и поставят его скоро.

Мы поблагодарили за любезность, но от чая отказались, сказав, что должны спешить домой.

Жену мою между тем повели по ее просьбе в другую кибитку, где жили жены Мурад-хана. Они встретили ее с большою лаской, тесно окружили ее и как маленькие дети дотрогивались и осматривали с радостным любопытством каждую мелочь в ее туалете.

— Тут у меня не хорошо, тут все по нашему, по-туркменски! продолжал извиняться Мурад-хан, — вот еслибы вы через недельку другую приехали ко мне, я бы вас принял как следует, в доме своем все равно как у вас в [91] России. А теперь дом переделывают, нельзя показать. Там у меня генералы все бывают, все начальники. Мурад-хана все знают.

— Нам тоже сказали в Мерве, что живет тут близко хан туркменский с большим чином, храбрый и знаменитый человек, вот мы и приехали нарочно посмотреть на вас, ответил ему я.

Мурад-хан поблагодарил за льстивые слова и счел долгом осведомиться, в каком чине и на какой должности, и в каком именно городе состоят его гости.

Мы удовлетворили его любопытство, применяясь к его туркменским понятиям, и когда я назвал м-ра Крэна Англичанином из Америки, то старый кочевник как-то восторженно весь и с нескрываемым сочувствием осклабился в его сторону.

Для вольнолюбимого сердца Текинца все-таки, должно быть, вид мнимого друга его, соседа по Индии, отраднее, чем вид нашего брата Русского, его непрошенного хозяина и покорителя.

Поболтав еще кое о чем и досыта удовлетворив любопытство наивных дикарей, набившихся в кибитку Мурад-хана, мы пожали ему наконец руки и направились к своей коляске.

Вечер мы провели у одного из гостеприимных местных жителей, с которым мы случайно познакомились дорогой. Капитан З. — железнодорожный деятель, участвовавший в постройке дороги с самого начала ее. Ему пришлось вместе с молодою женой переваливать через Балканы, томиться Сан-Стефанскою эпидемией и потом очутиться среди туркменской пустыни, в безводных песках Михайловского залива, заточенным вдвоем зиму и лето в войлочной кибитке, не выпуская из рук револьверов в ежечасном ожидании туркменских набегов. Это было в самый разгар Скобелевского похода, когда нужно было прокладывать железный путь через пески следом за надвигавшимся войском, в стране еще не покоренной и кишевшей враждебными нам разбойничьими племенами.

Здесьние женщины — герои своего рода, по плечу своим мужьям.

Мы долго сидели на балконе в саду, окруженные благоухающими белыми акациями. Деревья тут растут просто на глазах. [92] Трехлетнее дерево — уже толще человеческой руки, и цветы уже осыпают их, как молодую невесту.

Милые хозяева радушно угощали нас, беседуя об интересовавшем нас своеобразном крае. Уютный их домик украшен характерными местными предметами. В прихожей чучело тигра, убитого в Чикишляре, под столом кабинета — шкура гепарда из соседнего Теджена, на стене рога хивинского оленя и оригинально расписанные самаркандские блюда. На полу, на диванах, — всякие текинские, бухарские, хорасанские ковры...

Но хотя нас, северных пришельцев, очаровала необычно для нас ранняя и необычно мягкая южная весна, дышавшая из сада теплом и ароматом, нам однако рассказали далеко не утешительные вести о здешнем климате и дали настойчивый совет не увлекаться особенною доверчивостью к нему.

В Закаспийской области приезжие Русские, правда, нередко толстеют и чувствуют себя хорошо, но большинство их в конце концов расстраивают свое здоровье. В Мерве свирепствуют всевозможные болезни, в Самарканде, в Бухаре — еще больше. Главная причина этих болезней — застоявшаяся вода арыков и

прутков, из которых жители пьют воду. В воде этой множество всяких нечистот, бактерий, насекомых. А когда арыки высыхают в летний зной, то от них поднимаются вредоносные миазмы, причиняющие жестокую лихорадку. Лихорадка — это бич всех наших азиатских владений. Но кроме нее во многих местностях, особенно в Бухаре, свирепствует местная болезнь решта, — тончайший и длиннейший глист-волосатик, который проникает в человека из воды арыков и постепенно разветвляется внутри по всему его телу, причиняя невыносимую боль. Европейские доктора не знают средства против этой специально-азиатской болезни, но туземцы умеют ее излечивать, ловко разыскивая кончик волосатика и осторожно наматывая его на палочку. В Мерве тоже есть своя специальная, столь же опасная болезнь — пендинская язва, названная по имени местечка Пенджде, на Мургабе, из-за которого у нас был недавний спор с Англичанами. Эта кожная язва тоже происходит от нечистой воды арыков и сродни специальной болезни Ташкента — ташкентскому прыщу, от которого не бывает избавлен почти ни один проезжий из России. Кроме всех этих чисто-местных прелестей, в Бухаре [93] очень много прокаженных, которые, выходя, не ограничиваются одним Сирийским востоком.

На меня, впрочем, все эти слышанные мною ужасы произвели мало впечатления... Я давно уже заметил, что во всех странах мира люди имеют привычку жаловаться на скверный климат и на множество всяких болезней, а потому столь же давно принял за правило не обращать ровно никакого внимания ни на какие климаты и ни на какие болезни; и вот, достигнув довольно почтенного возраста, не могу сказать, чтоб эта простая система привела меня к плохому концу.

VII.

Аул Гуль-Джемал-ханым.

Рано утром нужно было отправляться в Старый Мерв и в Государево Мургабское имение. Мы наняли извозчицью коляску, чтобы не ждать железной дороги и чтобы лучше познакомиться со страной, чрез которую проезжали.

Мистер Крэн едва было не задержал нас. При отъезде из Асхабада он забыл на вокзале свой ручной фотографический прибор, без которого все путешествие теряло для него свое значение. Мы телеграфировали с дороги, чтоб его выслали в Мерв, но к отъезду нашему он выслан не был, так что пришлось обращаться за содействием к капитану З., который обещал выслать прибор следом за нами уже прямо в Бухару.

Путешествие на лошадях с самого детства имеет для меня незаменимую прелесть, и в сравнении с ним железная дорога не стоит ровно ничего. Я, конечно, говорю о впечатлениях, а не об удобствах.

Мы опять проехали сквозь мервскую крепость, и мое русское сердце радостно всколыхнулось при виде родных белых рубаш. Солдатики наши, пользуясь утренним холодком, отбывали ученье; они рассыпались под звуки барабана по плацу, залегали за земляные насыпи, взбирались бегом на глиняные текинские валы и там

быстро строились в ряды. Это так живо переносило мое воображение в былые дни, когда эти самые белые рубахи, хорошо знакомые теперь всей Азии, избегали с [94] такую же удалую решимостью на твердыни, защищаемые мечом и пулей. На далекой чужбине вид русской силы производит бодрящее и успокаивающее впечатление. Впрочем, здесь радует меня даже фигура какой-нибудь замазанной русской кухарки или пьянчуги-извозчика. Все-таки, как ни плохо, а свое родимое!

Сейчас же по выезде из города нас охватил со всех сторон плодоносный и многолюдный Мервский оазис. Аулы и сады на каждом шагу, виднеются и виноградники, хотя гораздо реже. Ряды пирамидальных тополей придают ландшафту совсем культурный характер. Если бы не темные муравьиные кучи кибиток, толпящихся среди глинобитных домов и оград, можно забыть, что мы в Туркмении. Все дороги покрыты едущим и идущим народом, едут на верблюдах, на лошадях, на ослах, едут навстречу, едут впереди и позади нас. Это уже не кочевья, а переход к оседлости. Почва полей — чрезвычайно тучный лёсс то густого кофейного цвета, то серого и серожелтого. Везде кругом пасутся верблюды с верблюженками, овцы, ослы. Верблюдов тут — непечатый край! В полях то и дело видишь работающих Туркмен. Мальчишки-пастушонки в своих характерных и живописных нарядах, спрятавшись в кустах арыка или за придорожными кустами, с пугливым изумлением пялят на нас свои огромные черные глазенки, гораздо более человеческие и добрые, чем всегда суровый и враждебный взгляд старого Туркмена. Из-за их плеч смотрят на нас такими же широко раскрытыми, наивно удивленными глазами, до ушей потонувшие в высоких травах болота маленькие статные ослики, совсем похожие на диких, неразлучные товарищи их бродячей жизни.

Арыки частою сетью бороздят и перерезают поля. Иногда они так широки и глубоки, в таких отвердевших обрывистых берегах, так заросли по берегам камышами и кустарником, что их принимаешь просто за речку изрядной величины. Через каждый арык при каждой дорожке непременно плотно убитый глиняный мостик, аркой приподнимающийся посередине. Порой приходится ехать между тесно сближенными арыками, как по длинной плотине, но дорога везде, однако, исправна и довольно покойна. Большие арыки иногда ветвятся [95] на несколько рукавов, расходящихся в стороны, как растопыренные пальцы руки. Эти крупные водные артерии — наследство глубокой древности и неведомо каких народов, может быть еще каких-нибудь Парфян — или даже Бактрийцев. Туркмены только расчищают старые русла этих древних исторических каналов, сооружение которых стоило громадного труда и требовало вековой работы.

Но множество таких каналов, этих грандиозных памятников былых благодетелей человечества, некогда питавших сотни тысяч народа и обращавших бесплодные степи в цветущую страну, давно заброшено, и восстановление их уже не по силам малочисленному и полудикому туркменскому племени.

При одном арыке, широком, как река, глубоко спрятанном в крутых берегах, приютилась туркменская камышевая мельница. Мы остановились немножко передохнуть и спустились к ней. Вода пущена в мельницу из запруженного верхнего арыка по трем деревянным желобам и почти отвесною сильною струей падает на колеса, спрятанные под полом мельницы. Колесо вертит верхний жернов-бегун, который скользит по неподвижному нижнему жернову, размалывая зерно, что сыпется в серединное отверстие верхнего

жернова. У каждого постава сидят в апатических позах, поджав под себя ноги, в усыпанных мукой халатах и шапках Текинцы-заовощики и не спеша сгребают маленькими ковшичками, будто горстями руки, муку из углубления пола, куда она падает. Около них стоят огромные мешки-корзины, сплетенные из какой-то мягкой, но крепкой соломы, в которые уместится добрый воз, и которыми нагружают, конечно, бока верблюда. Вся мельница полна ожидающего народа. Сейчас видно, что никто тут никуда не спешит и никто не верит, чтобы время было все равно что деньги, как уверяют вечно хлопотливые Англичане.

Не только мельница, но и весь берег кругом полон народа, по всем глиняным уступам его в самых типических позах и нарядах, словно они нарочно расселись здесь в ожидании карандаша художника; а тут же по берегу пасутся их верблюды, ослы и кони.

Веселый шум падающей воды, трудолюбивое жужжанье мельничных колес и эта характерная азиатская толпа со своими скотами и выюками — придавали столько жизни этому живописному уголку, притаившемуся в приволье неохватной степной глади. [96]

Глазатые, черномазые детишки окружили нас, как стая любопытных воробьев, и не спускали глаз с нашей дамы, так мало похожей и лицом, и нарядом на знакомые им родные фигуры. На их счастье у меня в кармане оказалась горсть конфет, которая привела весь этот крохотный Текинский народ в самую искреннюю радость. Но старые Текинцы, в совершенную противоположность своим ребятишкам, может быть, соблюдая азиатское приличие, а может быть из понятного чувства ненависти к Русским, оставались неподвижно на своем бережку, будто римские сенаторы, побитые Галлами на своих курульских креслах, и даже бровью не повели на нас...

Поднимаясь назад к своей коляске, я увидел на том берегу арыка огромный и совсем голый глиняный холм четырехугольной формы.

Мы осведомились чрез своего возницу, что это за насыпь. Текинцы отвечали, что природная гора. Но это только доказывает, что холм насыпан в незапамятную старину и не оставил по себе в народе никаких легенд. Никакого нет сомнения, что он насыпной. Я и прежде, и после видел в Текинском оазисе не один такой холм громадной величины. Но тут мне пришло в голову, что он недаром стоит так близко от такого значительного арыка. Очень может быть, что в подобные холмы сваливалась земля, которая получалась при копаньи больших древних каналов.

Получали ли потом эти холмы значение кладбища или военного укрепления — это уж другой вопрос, непротиворечащий моему предположению.

Мы двинулись, наконец, дальше. Поля Текинцев и здесь, как за Асхабадом, усеяны частыми глиняными башенками, которые очень заинтересовали меня. Эти башни-столпы издали кажутся пустыми внутри, и мы с мистером Крэном решились основательно оглядеть их. Мы отошли с ним далеко в поле и осмотрели несколько десятков этих странных укреплений, к большому недоумению проезжавших и проходивших мимо Текинцев, с враждебной подозрительностью следивших издали за нашим непостижимым для них путешествием по пустому полю. Однако, ни в одной башенке не оказалось никакой [97] пустоты. Все они только круглые столбы в два человеческие роста высоты и обхвата в два толщины. На некоторые как будто можно было взлезать. Они устраивались на случай внезапного нападения враждебного племени, чтобы дать застигнутому в поле Текинцу какую-нибудь защиту, из-за которой он мог бы отстреливаться, пока поднимется тревога и земляки явятся из аула на выручку. А может быть с вершины их и караулили иногда подходившего врага, за отсутствием в этой гладкой равнине гор и деревьев.

Аул Юсуп-хана на половине дороги к Государеву имению в Байрам-Али. Юсуп-хан считается чем-то в роде текинского царька. Впрочем, ханы у Туркмен сами по себе никогда не имели особенных прав и привилегий, и хотя наследственность древнего рода играла и до сих пор играет у них известную роль, но действительное влияние на народ всегда имели среди Туркмен только ханы, отличавшиеся особенным умом или храбростью.

Юсуп-хан — сын знаменитого Нур-Верды-хана, защитника Геок-Тепе; брат его Махмуд-Кули-хан служит теперь в русском войске, но в текинском народе особенным уважением пользуется не столько сам Юсуп-хан, сколько его властная и влиятельная мать, вдова Нур-Верды-хана, живущая вместе с сыном. Она-то собственно и сдала Мерв без боя русским войскам.

Аул Юсуп-хана большой и людной. Дом у него в том же стиле, как и у Мурад-хана; одноэтажный, кирпичный дом с полукруглыми окнами и с чем-то в роде крепостных зубцов по карнизу и крыше весело белеет среди зелени деревьев, возвышаясь над облегающими его глиняными мазанками и кибитками.

Дом этот окружен стеной и вход в него со двора. На дворе, кроме нескольких кибиток, еще другой каменный дом, в роде двухэтажной четырехугольной башни, с плоскою крышей и наружными лесенками.

Мы остановились у ворот и вошли во двор пешком, встреченные, по обыкновению, изумленной и растерявшеюся толпой. По улице аула уже торопливо бежали к воротам ханского двора любопытные зрители. [98]

— Дома Юсуп-хан? спросил наш переводчик.

— Юсуп-хана нет дома, уехал в степь, овец режет, отвечал нам один из ханских челядинцев.

— Гуль-Джемал-ханым дома?

— Нет дома Гуль-Джемал-ханым, семь дней как уехала!

— Кто ж у вас дома?

— Никого у нас нет дома, очень категорично ответил Туркмен.

— А посмотреть у вас на дворе можно?

— Отчего не можно! только смотреть у нас на дворе нечего.

Мы тем не менее вошли в дом, чтобы составить себе понятие о текинской роскоши.

Отворена была только приемная комната, обвешанная по стенам огромными дорогими коврами. Но с диванов ковры были сняты по случаю долгого отсутствия хозяев и лежали экономии ради вместе с расшитыми подушками и сафьянными тюфяками сложенные друг на друге целою башней Вавилонскою, оголив весьма непрезентабельно голые доски на кирпичах, которые, собственно, и составляют туркменскую тахту.

Но в остальные домашние комнаты проникнуть нам не пришлось, потому что на дверях висели огромные и грубейшие туркменские замки, подобные тем, которыми запирают ворота крепостей. Слуги хана уверяли нас, что ключи у старой ханым.

Тогда мы по обязанности присяжных туристов отправились обозреть дворовое хозяйство ханым. Обозреть в сущности было ровно нечего, о чем совершенно честно предупреждал нас ханский челядинец. В углах двора стоят огромные глиняные бочки для воды в форме кувшинов, прикрытые сковородами: три здоровенные котла, вмазанные рядышком в низенькую печь, прямо на открытом воздухе, даже без навеса, заменяют собой кухню.

Около нее цистерна для дождевой воды, в роде большой каменной купели, и глиняная пещерка для угля.

Работники и работницы живут в кибитках. Там только войлоки, ценовки и никаких вещей, — простота первобытная, вполне туркменская. Около кибиток бесчисленное множество собак, ошпаренных, искалеченных, какая без уха, какая без глаза, какая без хвоста; эти благоприобретенные пороки их не мешали, однако, туркменским псам отчаянно кидаться [99] на нас, с нескрываемою целью попробовать наши икры; по всей вероятности и они чуяли в нас кровных врагов своего племени.

Мы уже собирались уходить со двора, как вдруг въехала во двор сама старая хозяйка; она сидела на коне по-мужски, настоящим джигитом, не хуже молодцов нукеров, которые ее провожали.

Старая ханым ловко соскочила с седла и поднялась на крыльцо. Ей уже сказали, что у нее во дворе русские гости; когда мы подошли к ней, она приветствовала нас, пожимая по-русски руку.

Вид ее мне сразу привел на память наш недавний визит к Мурад-хану. Крупная, ширококостная, плечистая, она походила складом больше на мужчину, чем на женщину; и голос у нее был густой, грубый, привыкший повелевать. Лицо ее было разительно монгольское: приплюснутый широкий нос, далеко выпяченные скулы и вместе с тем ярко-черные волосы без признака седины. Одета в синий бархатный халат поверх полосатого темно-лилового платья самодельного тканья, и обвязанная по голове, как чалмой, шелковым платком в ярких букетах, она и костюмом своим смахивала на здорового мужчину.

По-русски она не говорила, хотя наш извозчик и уверял, будто она отлично разговаривает по-русски, когда это нужно.

— Юсуп-хан будет жалеть, что вы его не нашли дома, он уже несколько дней в степи, баранов режет, сказала она по-туркменски.

— Нам это сказали ваши люди, и мы тоже очень жалеем, что не видали такого знаменитого человека среди Туркмен, отвечали мы.

— У меня в доме беспорядок, ничего не убрано, и я очень жалею, что не могу принять таких гостей. Я сама семь дней не была дома.

— Мы слышали, ханым, что у вас ткут самые лучшие ковры; мы желали бы посмотреть, как их работают, не покажете ли нам? спросил я.

— Теперь нет ковров в работе, ковры все окончены, отговаривалась старая ханша, очевидно, не желавшая впустить нас в неубранный дом и притом без приготовленного угощения. [100]

Ковры ее действительно славятся во всем Мерве. Нам передавало, что за один ковер свой она просит 1.500 рублей, и что за него уже давали ей тысячу. Мы видели его потом в Москве на Средне-Азиатской выставке, возвращаясь из своего туркменского путешествия. Чуть ли и вправду он не был оценен там в 1.200 рублей.

Видя, что с упрямою Туркменкой ничего не поделаешь, мы простились с нею и отправились дальше, долго еще беседуя между собой об этой оригинальной кочевой даме.

Мне невольно припомнился меткий отзыв нашего известного путешественника по Востоку Ег. П. Ковалевского о пресловутом гостеприимстве Туркмен и подобных им дикарей: «Гостеприимство кочевых народов, говорит Ковалевский, — существует только в воображении поэтов; оно еще соблюдается в отношении к магометанам единоверцам; но посещение чужеверца уже считается осквернением юрты и должно быть окуплено или дорогою платой, или пленом непрошенного гостя».

Юсуп-ханшу, будто в насмешку, зовут Гуль-Джемал, что значит по-русски «роза тела». Вкусы Туркмена должно быть слишком нетребовательны, если даже эту черномазую плосконосую рожу он в состоянии принимать за розу.

Замечательно, что самые родовитые и влиятельные Туркмены, каковы Гуль-Джемал, Мурад-хан и др., сохранили в своих лицах гораздо более монгольства, чем, так сказать, рядовые Туркмены.

Монгольская раса, нахлынувшая на Среднюю Азию с Чингисом и Тимуром, стала владыкой всех других местных племен, поэтому немудрено, что главные роды ее поддерживали особенно заботливо чистоту своей крови, как самой, так сказать, аристократической по понятиям завоевателя-дикаря. Вероятно, по той же причине эти родовые вожди Туркмен отличаются богатырским складом и огромным ростом. Среди Киргизов Ферганы я заметил потом совершенно то же. А монгольско-тюркские народы, кочевавшие в древности в пустынях теперешней Киргизии за Сыр-Дарьей и называвшиеся тогда общим именем Скифов, Саков и пр., еще во время походов Александра Македонского поражали Греков своим громадным ростом, хотя нужно думать, что Македоняне и Эллины IV века до Г. Хр. тоже не были особенно малорослы.

«Придут ко мне Хоразмяне, Даги, Сакиане, Индейцы и [101] живущие за Доном (как называлась тогда река Сыр-Дарья) Скифы, из которых нет ни одного столь маловозрастного, кому бы Македоняне не по плечо были», говорит у Курция Александр, исчисляя свои шансы на победу.

Как бы то ни было, а богатырская Туркменка Гуль-Джемал среди этой расы богатырей пользуется великим почетом и послушанием, и голос ее на «маслагатах», то есть на народных совещаниях ее родного колена Векиль, решает самые важные вопросы. Голос этот был настолько силен, что отворил нам без боя ворота

вольнoлюбимoгo Мeрвa и пoкoрил никoмy нe пoкoрявшиxся oтчaянных хрaбрeцoв мeрвских Тeкинцeв, вoпpeки нeбoльшoй, нo рeшитeльнoй пaртии вoйны, удaлившeйся пoгoлoвнo в пeски при сдaчe нaм Мeрвa.

Вoбщe тyзeмнaя жeнщинa стoит oчeнь вoыcoкo вo мнeнии Тyркмeнцa. Oнa вce yмeeт, oнa вce дeлaeт, oнa хaрaктeрoм, пoжaлуй, eщe рeшитeльнee, чeм мyжчинa-Тyркмeн. В этoм oнa coвeршeннo пoхoжa нa Киргизкy, кaк я пoтoм yбeдился; кaк Киргизкa, oнa нe зaкрывaeт лицa, yчaствyeт нa сxoдкaх, смeлo eздит вeрxoм. Вo вpeмя взятия Скoбeлeвым Дeнгиль-Тeпe в нeм сидeлo пoд выстрeлaми рyсских пyшeк 23.000 тeкинских жeнщин и ни oднa из них нe зaхoтeлa бeжaть, пoкa дeржaлaсь кpeпoсть.

Нaпpoтив тoгo, жeнщины oбoдpeли мyжчин нa нoчныe вылaзки, пoсылaли их нa стeны и сpaмили тpyсoв.

Нyжнo дyмaть, чтo тeкинские жeнщины мoгли б и сpaжaться нa кoнях, a нe тoлькo eздить нa них.

Нeдaрoм в дpeвниe вpeмeнa в этиx сaмыx пyстынях Aзии Mакeдoнский гeрoй встpeтил жeн — вoитeльниц Aмaзoнoк.

«Фeмистpa, цaрицa Aмaзoнoк, нaрoд кoтopых кoчeвaл пo стeпям Фeмискирским, пpибылa к Aлeкcaндpy», рaсскaзывaeт Квинт Кypций пo пoвoдy пoхoдa Aлeкcaндpa чeрeз Maргиянy. «У нee, кaк y вceх Aмaзoнoк, лeвaя гpyдь тoлькo цeлa и oбнaжeнa, a пpaвaя для лyкa и дрoтикoв oбжигaeтcя».

Нaивнaя oткpoвeннoсть и пepвoбытнaя пpocтoтa нpaвoв этиx кoчeвых вoитeльниц дaлeкo бы oстaвилa нaзaди дaжe нpaвы тeпepeшних Тeкинoк; кoгдa Aлeкcaндp cпpocил y цaрицы, нe хoчeт ли oнa o чeм-нибyдь пpocить eгo, Фeмистpa oтвeчaлa eмy, «чтo oнa пpибылa для poждeния oт нeгo дeтeй, и чтo oнa дocтoйнa, oт кoтopой бы eмy poдить нaслeдникoв гocудapствa. Жeнский пoл oнa y ceбя yдepжит, a мyжскoй oтцy [102] oтoшлeт»; oнa «нeoтcтyпнo пpocилa, чтoб ей пpaзднoю oт нeгo нe вoзвpaтиться. Цaрицa бoльшe имeлa oхoты к плoтcкoмy coвoкyплeнью, нeжeли Aлeкcaндp, oднaкo жe нeскoлькo вpeмeни пpocтoять для нee пpинyждeн был. 30 днeй yпoтpeблeнo к иcпoлнeнию жeлaния ee: пoтoм oнa в cвoe цapствo, a Aлeкcaндp в Пapфиaнy пoexaл».

Кypций пpибaвляeт в видe пoяснeния нe coвceм гaлaнтнoгo пoвeдeния cлaвнoгo пoлкoвoдцa: «Aлeкcaндp coдepжaл при ceбe 360 нaлoжниц, cкoлькo y Дapия былo, и мнoжeствo eвнyхoв, кoтopые тoжe слyжили к yдoвлeтвopeнию eгo лyбoстpaстия».

Мервский оазис протягивается всего на 60 верст в длину и на 60 же верст в ширину. Строго говоря, это даже не оазис, а только искусственно орошенная часть огромной лёссовой равнины, которая тянется к северу от Хоросана и Афганистана, отделенная от берегов Аму-Дарьи необозримым морем Кара-Кума и других сыпучих песков.

Каналы, которые, смотря по характеру своему, носят здесь самые разнообразные названия, и арыков, и «ябов», и «но-у-хана», и «керизов», — составляют живую душу этой омертвевшей от солнца страны.

Каналы создали здесь поля и сады, и жилища человека. Где иссыхает канал, там наступает смерть, отсюда исчезает всякая зелень, всякий плод, всякая человеческая жизнь, и остаются одни развалины.

Весь многоводный Мургаб-Дарья, текущий с гор Парапамиза, разбирается Мервцами на эти бесчисленные каналы и арыки и, не будучи уже в силах одолеть своим ослабевшим потоком сплошной пустыни песков, теряется на ее широкой груди чуть не сотнями мелких рукавов.

Громадная плотина Коушут-хан-Бенд встречает воды Мургаба при их входе в Мервский оазис и сейчас же делит их на две равные половины, по двум главным подразделениям племени, направляя левую половину вод по большому Утемышскому каналу в аулы родов Утемыш, а правую по такому же большому Тохтамышскому каналу в землю Тохтамышцев.

Уже из этих больших каналов каждое колено отводит [103] свой меньший канал, меньшие каналы в свою очередь дробятся на еще меньшие арыки, по отдельным родам, дальше по аулам, по семьям и т. д.

Целая хитросплетенная сеть оросительных каналов охватывает и перерезывает таким образом Мервский оазис, который под жгучими лучами южного солнца, постоянно пропитываемый влагой, выгоняет из плодородной почвы растительность чуть не тропической силы.

Самые драгоценные растения дальнего юга могла бы культивироваться в этой естественной теплице, если бы к ней приложила свою чудотворную руку европейская промышленность.

Оттого-то на этом маленьком оазисе население сравнительно очень густо. Местные исследователи считают Мервских Текинцев в 50.000 кибиток, а так как на каждую кибитку предполагается средним счетом по меньшей мере 5 душ, то всех Мервцев наберется до 250.000, если не больше.

Ахал-Текинцев считается несколько менее, до 30.000 кибиток, а всех вообще Туркменов различных племен и колен в Закаспийской области найдется миллиона полтора.

Кроме племенного различия Текинцев от Сарыков, Алилей от Эрсари, Иомудов от Гокланов и т. п., каждое туркменское племя разделяется еще на кочевых и оседлых, иначе, пастухов и пахарей, по-туркменски чорва и чомур. Скотоводы чорва — богаче чомур, но более дики и грубы, чем они, чомур же гораздо воинственнее и храбрее чорвы, хотя это и не совсем вяжется с понятием о более цивилизованной и оседлой жизни. Все аламаны в Персию, Хиву, Бухару, все хищничества Туркмен на Каспии издавна затевались главным образом чомурами, для которых разбой составлял открытый и всеми высокочтимый промысел.

Но из всех аламанщиков самыми дерзкими, самыми набалованными и, можно сказать, самыми непобедимыми по справедливости считались Мервцы.

Они хозяйничали как хотели по всем караванным дорогам, ведущим через пустыню из Герата и Мешеда в Хиву и Бухару.

Они держали в трепете персидских наместников Хоросана и смеялись над угрозами Бухарского эмира.

Они до того верили в свою непобедимость, до того надеялись на страх, внушаемый ими окрестным народам, а, может [104] быть, и на удаленность свою от всех соседних государств, что даже не считали нужным устраивать в своей стране, как делали это Текинцы, Ахала и другие Туркмены, — неизбежные в этой вечно воюющей местности крепостцы.

Во всем Мервском оазисе вы не встретите ни одной глиняной калы, которые так мозолят вам глаза везде в Закаспийском крае.

Мерв-Теке, как древние Спартанцы, в собственной груди своей видели достаточно могучую твердыню для защиты родной земли. Только одно большое укрепление Коушут-хан-кала, теперешняя русская крепость Мерва, было построено ими в тревожную минуту, когда неожиданное взятие Русскими Хивы в 1873 году как громом поразило все народы Средней Азии.

Да надобно сказать, что и уроки, которые Мервцы задавали окрестным азиатским царствам, были таковы, что их трудно было скоро забыть.

Еще не особенно давно, всего только в 1861 году, Персияне, потеряв всякое терпение от их наглых набегов, собрали наконец большую армию в 23.000 человек регулярного войска, с 33 орудиями, и решились двинуться на Мерв, чтобы разорить с корнем это разбойничье гнездо. Но Мервцы расколотили в пух это грозное ополчение, почти вся персидская армия со всеми своими пушками и знаменами была захвачена

Текинцами в плен; успела ускакать только часть конницы. На базарах Хивы и Бухары долго после этого персидские рабы продавались, как говорится, дешевле пареной репы, по 7 руб. 50 коп. за штуку.

А между тем Мерв, это неисправимое разбойничье гнездо, оберегалось Англичанами от посягательства Русских, будто какая-то святыня азиатской свободы, еще задолго до занятия Русскими Мерва. Нужно отдать справедливость Англичанам, — они предусмотрительные, ловкие и твердые политики. В делах, где замешаны их интересы, они действуют безо всякой сентиментальности и колебаний, и все действия своих соседей рассматривают только с точки зрения своих собственных выгод и невыгод.

Английские государственные люди всех партий в этом отношении совершенно одинаковы, и если какой-нибудь Гладстон, [105] в роли вождя оппозиции, страстно нападает на ту или другую меру внешней политики своего правительства, то тот же Гладстон, сам сделавшись премьером, не задумается продолжать относительно Индии или Армении образ действий своего низвергнутого противника Беконсфильда или Солсбери. Эта твердость политических взглядов государственных людей Англии придает необыкновенную силу и выдержанность английской внешней политике и во многом объясняет ее постоянные успехи среди шатких и изменчивых направлений политики других народов, с которою ей приходится иметь дело.

Известный знаток Азии сэр-Генри-Раулинсон, собственно говоря, был и до сих пор остался главным вдохновителем английской политики последних десятилетий по отношению к Средне-Азиатскому вопросу.

Несмотря на ученый авторитет знаменитого президента Лондонского Королевского Географического Общества сэр-Родерика Мурчисона, лично посетившего наши средне-азиатские владения, и настойчиво утверждавшего, что все опасения русского нашествия на Индию чистая химера; несмотря на успокоительное отношение к русским завоеваниям в Средней Азии сэр-Стаффорда Нордскота, занимавшего в то время ответственный пост статс-секретаря по индийским делам, записка сэр-Генри Раулинсона, появившаяся в 1868 году и исполненная самого откровенного недоверия к целям и действиям нашей среднеазиатской политики, стала основным догматом английских государственных людей в вопросах Индии и Средней Азии, как вполне отвечавшая всегдашнему враждебному настроению английского общества к правительству России.

Сэр-Генри Раулинсон предугадал многое, что совершилось впоследствии по неотразимому роковому течению вещей.

Он еще в 1868 году предсказывал, что дни Кокана, Бухары и Хивы, тогда еще вполне независимых и сильных ханств, сочтены; что Россия неизбежно доведет свои границы до древнего Оксуса (Аму-Дарьп), и что поэтому Англия должна немедленно утвердить свое господство в Афганистане, если не хочет дожидаться, чтоб и Кабул подпал русскому влиянию так же, как Бухара и Хива.

Сэр-Раулинсон даже указал приблизительные линии постепенных русских захватов, которые он довольно удачно [106] сравнил с параллелями, последовательно закладываемыми против осажденной крепости.

Первая параллель, по его мнению, была уже проведена раньше, через Оренбург к Иртышу; вторая пройдет от Каспийского моря через Красноводск к Оксусу до Памирского плоскогорья, что приблизительно и соответствовало границам русской власти до Туркменского похода 1880 года. Третья параллель, по предсказаниям Раулинсона, должна была пройти от города Астеры по персидской границе до Герата и оттуда до Оксуса, то есть почти по действительной теперешней границе русских владений, со времени присоединения Ахал-Текинского и Мервского оазисов и течений рек Мургаба и Герируда.

«Тогда будет неизбежно занятие Мерва, и эта операция даст России ключ к Индии», заключал Раулинсон свои пророчества.

В отвращение опасностей, указываемых этою политическою Кассандрой, и в исполнение его предусмотрительных советов, Англичане действительно заняли без малейшего права и повода город Кветту, довели до отчаянной и, конечно, в конце концов несчастной войны афганского эмира Шир-али, и вообще начали последовательно применять к Афганистану и Средней Азии ту наглую и решительную политику свою, которую английские тори окрестили именем *highly-spirited* (высоко-настроенною) и в которой оказался таким виртуозом их премьер-Еврей Дизраэли.

По мирному договору с Якуб-ханом, наследником Шир-Али, Афганистан перестал быть самостоятельным государством, а обратился почти в вассала английского вице-короля Индии, платившего за то эмиру по 2.000.000 рублей в год так называемой субсидии.

К сожалению, наша дипломатия в Средне-Азиатском вопросе далеко не отличалась смелостью и последовательностью. В то время, как Англия дерзко вмешивалась в дела, касавшиеся исключительно нас, и постоянно требовала от нас ни на чем не основанных гарантий, обещаний и обязательств, наши дипломаты не решились обмолвиться словом по поводу самых дерзких захватов и притязаний соседки и, словно признавая за Россией какую-то действительную вину против Англии. какое-то действительное нарушение ее законных прав, в своих меморандумах, циркулярах и нотах почему-то [107] связывали себя по рукам и ногам разными «нейтральными поясами», «государствами-буферами», добровольными отказами от сношений с азиатскими соседями, обещаниями не идти дальше такой-то местности, не касаться такого-то ханства, и т. п.

Система эта дошла до того, что мы согласились понимать «нейтралитет независимого Афганистана» в том смысле, что английские офицеры получали право посещать Кабул, а Русские не смели этого делать, точно так же мы не смели вести дипломатические сношения с этим самостоятельным государством, лежавшим на наших границах, а Англичане, конечно, смели сугубо и исключительно. Мало того, мы вдруг депешей князя Горчакова от 12 января 1873 г. любезно уведомляли Англичан, единственно по их настойчивому требованию,

что Россия согласна на присоединение к Афганистану почти независимых до того ханств Бадахшана и Вакхана, лежавших по течению Аму-Дарьи, в то время как Аму-Дарья уже делалась через наши туркестанские завоевания и хивинские походы естественною границей добытых русскою кровью вассальных владений наших.

Немудрено, что набалованные уступчивостью нашей дипломатии, английские политики смотрели на возможность занятия Русскими туркменского разбойничьего становища — Мерва как на посягательство против драгоценнейших прав Англии и предостерегали нас от этого «преступного шага» за много лет до совершившегося присоединения Мерва.

Никому прежде в Англии неведомый аул Мерв в несколько сотен глиняных мазанок и кибиток стал в воображении английской публики чуть не знаменитым и могущественным городом, о котором страстно судили и рядили во всех салонах Лондона, и который сделался предметом усиленных тревог для индийского правительства. Можно себе представить, каким голосом заговорила Англия, когда в 1884 году увидела вдруг Русских на Мургабе, владельницей рокового «ключа от Индии». Еслибы не дело под Кушкой, мужественно разрубившее наконец сложный узел, напутанный дипломатией и заставившее громом своих пушек опомниться Англии, — кто знает, какие бы дипломатические извинения не приносили мы ей до сих пор и за взятие Мерва, и за дерзость своего дальнейшего движения к Пенде... [108]

Страхи пред нашествием России на Индию начались впрочем давно. Апокрифическое завещание Петра Великого появилось еще в XVIII столетии с легкой руки кавалера Д'Эона, и изобретение его, без сомнения, было основано на тех изысканиях, которые Петр поручал делать посылаемым на Восток агентам, заботясь об установлении прямых торговых сношении с Индией.

Император Павел I дал некоторую пищу этому давнему политическому предрассудку, замыслив действительно экспедицию в Индию. В 1800 году он составил план завоевать Индию в союзе с Наполеоном. Россия и Франция должны были для этого выставить каждая по 35.000 войска. Поход должен был совершиться не через туркменские или киргизские пустыни, а через Каспийское море и Астрабад на Герат, Ферах и Кандагар, населенными странами, где можно было достать всякое продовольствие, и дорогой, давно уже пробитою древними завоевателями. Убеждая Наполеона в осуществимости этого похода, император Павел ссылался на нашествие этим путем из Индии на Персию Кадир-шаха в 1739 и 1740 годах.

Между Астрабадом и рекой Индом считалось по этому маршруту 45 дней пути и предполагалось, что попутные государства не станут препятствовать движению, если их заранее успокоить обещанием все покупать в их стране за деньги, никого и ничего не трогать, и объявить целью похода не завоевание, а только освобождение Индии от Англичан. Как ни фантастичен мог казаться тогда Наполеону этот план похода по следам Александра Македонского, но опыт позднейших русских походов вглубь Азии, кажется, мог убедить

всякого, что смелая мысль Павла была в сущности гораздо исполнимее, чем это представлялось великому французскому полководцу.

Не успев втянуть Наполеона в эти планы свои, Павел I, особенно раздраженный на Англичан за их действия относительно ордена Мальтийских рыцарей, гроссмейстером которого он состоял, посылал зимой 1801 года довольно безрассудную экспедицию в Индию из одних Донских казаков под предводительством наказного атамана Орлова и притом не тем путем, который он так благоразумно избрал в прежнем плане своем, а через голодные, безлюдные и безводные степи [109] Оренбурга, Бухары и Хивы, не снабдив эту скороспелую экспедицию ни точными маршрутами, ни необходимыми походными средствами. Орлову только приказано было идти к Инду, а с Инда на Ганг «и везде уничтожать заведения Англичан».

Нет сомнения, что верные дружины удалых казаков, безропотно исполнявшие царскую волю, погибли бы все без остатка, далеко не достигнув указанной им цели, еслибы внезапная смерть императора Павла в ночь на 12 марта того же 1801 года не остановила похода, и казаки, уже испытывшие страшные бедствия, не были вернуты назад новым императором.

(Окончание следует.)

VIII.

На развалинах древнего Меру.

Развалины Старого Мерва начинают уже давно охватывать нас и справа, и слева, и спереди своими неисчислимыми каменными полчищами. Тут храмы, замки, башни, стены, дома, ворота... Не город, а целая страна городов, сокрушенных во прах... Казалось, мы въезжали все глубже и глубже в полукруг, занимавший горизонт, а теперь уже конца края не видим этим развалинам: они охватили нас, как воды моря, сзади и со всех сторон...

Государево имение «Байрам-Али» занимает один из уголков этого колоссального поля смерти. От станции железной дороги оно в нескольких шагах. Целый хорошенький городок белокаменных построек сверкает весельем молодости и новизны среди весенней зелени, на фоне голубого неба. Здания все обширные, капитальные, слегка в местном персидском стиле, с господствующим надо всем срединным фронтоном, с тенистыми галлереями, арками, плоскими крышами, обнесенными красивою решеткой. Везде молодые древесные насаждения [454] на огромных пространствах, сады, виноградники, аллеи, плантации. журчащие канавы.

Позавтракав и напившись чаю, мы отправились познакомиться с управляющим имением полковником К-ским, живущим в одном из этих прекрасных, окруженных зеленью, домов. Полковника, однако, не захватили дома, — он объезжал верхом свою экономию, и нас направили пока в другой хорошенький дом, к его помощнику, капитану З-ша. Тут все военные чины и во всем военная дисциплина, единственно пригодная пока в этом воинственном крае.

Мы познакомились по превосходным фотографическим картинам капитана с подробностями работ на Султан-Бендской плотине и получили от него обещание устроить нам поездку в самые интересные места развалин Старого Мерва. Что касается до пресловутой плотины инженера Козел-Поклевского, уже замененного теперь другим техником, то она оказалась, во первых, верст за шестьдесят от имения, а, во вторых, в ней нечего было теперь смотреть, потому что вода Мургаба вымыла непрактично устроенные, хотя и дорого стоившие, водосливы плотины и ушла вместе с ними в старое русло реки; новых же работ на ней еще не производилось.

Говорят, г. Козел-Поклевский впал в крупную ошибку, сделав свои предположительные расчеты на возможность обводнения громадного пространства в несколько сот тысяч десятин не по наблюдениям над действительным количеством воды в Мургабе, а по тому только остроумному соображению, что Старый Мерв, развалины которого занимают несколько десятков квадратных верст, должен был иметь некогда население в несколько сот тысяч душ, которое все питалось тогда пересохшими теперь арыками Мургаба.

Местные жители, особенно Персы, удивительно искусны в делах орошения и запруд. С ними в этом отношении не может сравниться ни один наш ученый инженер. Их знания или, вернее, чутье, как обращаться с водой, — наследие тысячелетий, еще от времен каких-нибудь Бактрийцев. Здесь, в Азии, необходимо было прислушаться к их вескому голосу и руководиться их многовековым опытом, прежде чем рисковать применять теоретические положения науки к мало исследованным условиям местности и климата. Ведь те же самые Персы или Туркмены строили старую плотину Бенди-Султан, [455] которая спокойно просуществовала многие века и была разрушена не стихиями, а руками бухарского эмира Маасума, всего только в 1784 году, в наказание за несносные набеги кочевников.

Капитан З-ша любезно проводил нас к г. Ч-ву, заведующему садоводственной частью Государева имения. Ч-в оказался добродушнейшим хохлом и притом коллегой моим по Харьковскому университету, хотя и много позднее меня; он в одно и то же время юрист Харьковского университета и магистр ботаники Новороссийского университета.

Вместе с ним и молодою женой его мы добросовестно выходили интересные плантации молодых деревьев, разводимых им здесь, можно сказать, в колоссальных размерах. Тут, кажется, соединились все благоприятные условия для успеха дела: чудодейственная сила зелени и солнца, искусство и настойчивость человека, — и широкие денежные средства. Уже целых пятьдесят десятин готовых древесных питомников

доставляют молодые саженцы в разные углы Туркмении и Туркестана, а теперь их доводят до ста десятин. Нельзя представить себе, где могут найти сбыт в этих полудиких странах такие массы молодых деревьев. Положим, в Туркмении все по военному, и с жителями не очень церемонятся. Прикажет генерал-губернатор сажать везде в аулах, по дорогам, по арыкам белую акацию или айлант, или какое-нибудь другое невиданное кочевниками дерево, ну и сажают все без рассуждений, покупая деревца в питомнике сколько какому аулу приказано. Аксакалы знают, что им будет, если не будет исполнен во всей строгости приказ грозного командира края. Знают это еще лучше начальники уездов. Улицы и площади городов засаживаются точно также обязательно и точно также без дальних разговоров. Кроме того, много молодых деревьев требуется в разные области Туркестанского края.

Таким способом уже раскуплено из питомников Байрам-Али до 770.000 деревьев. Нельзя не признать великой заслуги этих благодетельных насадителей дерева в пустынях Туркмении, в царстве зноя, песков и засухи. Если где может быть и должна быть оправдана строгость власти, то именно здесь. Сами Туркмены благословляют и всегда будут благословлять [456] властительную руку, которая, хотя и помимо воли их, даст прохладу их жилищам, отраду их глазу, а вместе с тем вкусный плод и даровой строительный материал.

Мне рассказывали в Асхабаде, что за девять месяцев управления генерала Куропаткина он насадил в области 80.000 деревьев.

Громадные питомники Байрам-Али содержатся превосходно; везде все вскопано и полито, везде тщательно разделенные узенькие грядочки и отрадно журчащая вода арыков, доходящая, можно сказать, до каждого корешка. Персики, три года назад посеянные, уже смотрят большими деревьями и покрыты плодами; трехлетняя виноградная лоза гнется от гроздей; еще только апрель, а уже абрикосы почти спелые. Подбор растений в этих образцовых плантациях самый интересный. Тут вы найдете не только миндаль, грецкий орех, разные породы ясени и акаций, но и деревья многих редких пород из Китая, Индии, Мексики. Мандарины и эвкалипт тут растут рядом с нашими обыкновенными лесными породами. А между тем морозы тут бывают довольно жестокие; в нынешнюю зиму доходило до 25°, и множество южных растений погибло. От того-то, вероятно, у местных жителей, несмотря на жаркий климат и тучную почву, так мало разводится всяких растений. В этом отношении широкое и разнообразное садоводство Байрам-Али является в высшей степени поучительным опытом и ободряющим примером для Туркмен.

При садовых заведениях Байрам-Али находятся и хорошо устроенная метеорологическая станция, постоянно следящая за климатическими явлениями этой новой для нас местности. Сады и плантации Байрам-Али, конечно, все орошаются водой арыков, для подъема которой устроены вблизи экономии огромные черпальные колеса с ковшом. Без искусственного орошения здешняя почва — бесплодный кусок камня. А в этих странах вода значит все: плодородие, доход, богатство.

Впрочем, пока Байрам-Али еще весь в будущем, а затрачиваемые на него крупные средства кладутся пока как фундамент для предполагаемых доходов грядущих лет. Настроено много и красиво, служащих уже собралось достаточно много, и они, кажется, не могут жаловаться на свое положение, но настоящего хозяйства еще не заведено. Скот и лошади держатся только для потребностей служащих и рабочих, посевы

[457] тоже производятся только на удовлетворение собственных нужд экономии. Насколько оправдаются все эти затраты и хлопоты — увидят те, кто этого дождется.

Мы отправились на объезд развалин со своим мервским извозчиком в том же фаэтоне, в котором приехали. Нас провожал в качестве хозяина этой исторической пустыни любезный капитан З-ша. Полковник К-ский прислал нам, кроме того, ловкого джигита, отлично знающего здесь всякий камешек, и гостеприимное приглашение отобедать в его семье по возвращении из поездки.

Развалины Старого Мерва, или Куня-Мерва, как называют его Текинцы, — это целая страна. Нам говорили, что они тянутся в одну сторону на 32 версты, в другую на 28, а некоторые уверяют, что они занимают пространство во 100 квадратных верст. Я готов верить и тому, и другому, потому что сколько часов ни едешь по ним, все никак не выедешь, и все видишь их на необозримое пространство направо и налево, впереди и сзади себя. Даже на другой день, когда мы покидали Байрам-Али уже в вагоне железной дороги и неслись, так сказать, на крыльях пара, а не трусили лошадиною рысцой, — и то эти бесчисленные обрушившиеся башни, стены, дома, провожали нас очень долго по сторонам дороги.

Развалины Старого Мерва тянутся однако не сплошь, а гнездами. Это целый лабиринт разрушенных крепостей, замков, городков, между которыми нередко едешь изрядно-большими пустырями, не сохранившими на себе никаких следов человеческого жилья.

Огромная крепость, носящая название Байрам-Али-Хан-Кала и давшая имя приютившемуся около имению Государя, находится очень близко от него и от станции железной дороги. Высокие слегка зубчатые стены его, со множеством четырехугольных и круглых башен, охватывающие огромное пространство, хорошо уцелели почти на всем протяжении. Они глинобитные, как и все почти здешние укрепления. Вид этой крепости очень оригинален и живописен. Ее стены и башни спалзывают и поднимаются по всем изгибам холмистой песком занесенной местности, представляя собою при каждом повороте самые романтические пейзажи. [458]

Ворота, вход — это главное средоточие и главная красота среднеазиатского зодчества, которое вернее всего назвать персидским. Персия среди разных Туркмений и Бухарий всегда была своего рода изящною и цивилизованною Италией среди грубых европейских государств прежних веков. Ее искусство, ее язык, ее поэзия и нравы всегда служили соседним с нею магометанским ханствам Средней Азии недостижимыми образцами для подражания.

А персидский стиль храма, дворца, — это входной фронтон колоссальной величины, подавляющий и заслоняющий собою все здание, вернее, воплощающий его в себе. Вся изысканная роскошь, вся замысловатая фантазия чувственного и изнеженного персидского Востока, во многом уже не похожего на суровую и упорную страстность Востока арабского, сосредоточивается в сверкающих яркими красками и

затейливыми узорами украшениях этих гигантских фронтонов. Поэтому и ворота городов персидского стиля всегда бывают особенно грандиозны и красивы.

Въездные ворота в Байрам-Али-Хан-Кала помещаются в толще целого укрепленного замка с бойницами и башнями, сохранившегося довольно хорошо, и такого живописного, что было невозможно проехать мимо не набросав его в свой путевой альбом.

Все пространство, охваченное стенами, покрыто развалинами домов и башен; они торчат среди собственных обломков, наваленных везде сплошными курганами, будто скелеты, поднявшиеся из своих могил.

Дворец Байрам-Али сохранился лучше всех остальных построек крепости. Он глубоко ушел в землю, потому что развалины и его самого, и окрестных строений, в перемежку с песками пустыни, росли кругом него мощными слоями толщиной в несколько сажен.

Не знаю, точно ли это дворец, как величают его туземцы; своею архитектурой он скорее напоминает мечеть: такой же, как на мечетях, круглый купол из изящных маленьких кирпичиков, такая же осмиугольная срединная башня под этим пологим куполом, с островерхими амбразурами окон, с примыкающими к ней спереди и сзади огромными входными арками двух фронтонов...

Мы спустились в темную внутренность этого дворца-храма, словно в подземную пещеру, по осыпям заваливших его [459] обломков. Там то же впечатление мечети: центральная зала с высоким круглым сводом и от нее в стороны комнатки, ниши, проходы, под маленькими круглыми сводами. Чуть заметные обрывки голубых изразцов, каменных узорчатых арабесков когда-то сплошь украшавших эти покои, — еще торчат кое-где на стенах и сводах...

Имя Байрам-Али-Хана еще очень живо среди Туркмен. Это был храбрец, смело и удачно отбивавшийся от бухарских полчищ в своей глиняной крепости. С 700 отборных воинов он долго выдерживал бой против победоносного Бухарского эмира Шах-Мурада. Бухарцы напали раз на Мерв в отсутствие Байрам-Али. В Мерве оставались одни жены и дочери, все мужчины ушли в поход с храбрым ханом. Тогда удалые Туркменки сами сели на коней, взяли в руки оружие и бросились на Бухарцев. Узбеки, воображая, что это вернулся и ударил на них Байрам-Али, разбежались в паническом страхе.

Старинная кирпичная кладка видна не в одном дворце и не в одних воротах и замках Байрам-Али. Большинство его простых домов, лежащих в развалинах, очевидно были сначала тоже кирпичными и потом были разрушены и надстроены сверху глиной или сырцовым кирпичом. Оттого-то так часто видишь нижние ярусы из кирпича, а верхние глинобитные, как все обычные небогатые постройки Туркмен, Персиян и Бухарцев...

При самом беглом обзоре этого разрушенного города, безо всяких исторических справок, уже сразу видишь, что здесь одна какая-то цивилизация наследовала другой, и притом наследница гораздо более невежественная и скудная, чем ее предшественница. Мне невольно вспомнилось, глядя на эти двусоставные постройки, остроумное изречение современников императора Павла по поводу надстройки им кирпичом начатого Екатериной 2-ю мраморного основания Исаакиевского собора:

«Вот памятник, двум царствиям приличный:

Низ мраморный, а верх кирпичный...».

Выезжаешь из крепости Байрам-Али другими воротами характерного персидского стиля, между двух конических башень, еще более изящными и живописными, чем въездные ворота. [460]

Сложены эти ворота удивительно искусно и красиво из превосходно выжженных тонких кирпичиков, будто узор, сплетенный из какой-нибудь каменной тесьмы. Голубые фаянсовые кафли, когда-то облицовывавшие их, теперь уцелели только кое-где, в виде грустного воспоминания о прежнем величии.

Из лощины, где прячутся выездные ворота, вы попадаете в неохватный мертвый город. Развалины домов, караван-сараев, базаров, бань, отдельных укрепленных замков — тесными дружинами толпятся на вашем пути и уходят вдаль со всех сторон, куда только хватает глаз. Бугры песку, нанесенные на кучи развалин, обратили эту безмолвную, как гроб, равнину в настоящий лабиринт громадных могильных насыпей.

Ни кустика, ни деревца среди этих глиняных и каменных скелетов, среди этой пустыни мертвецов... Ни зверя, ни птицы, ни человека. Зачем и кто пойдет сюда?

Странные высокие конусы в виде индийских пагод, издали словно расчерченные циркулем частыми круговыми линиями, оказываются вблизи искусно сложенными из г.тины и камня ступенчатыми шалашами громадной величины, хранившими некогда в своих прохладных утробах самое дорогое и редкое на юге лакомство — лед. Капитан 3-ша с нашим Американцем доставили себе головокружительное удовольствие взобраться по ступенчатым стенкам одного из этих своеобразных ледников на самую вершину его.

За развалинами домов, этим, так сказать, историческим кладбищем, потянулось на далекое пространство настоящее старинное кладбище: могилки, красиво выложенные кирпичиками, простые глиняные холмики, каменные гробницы, часовни с характерными мусульманскими купольчиками, без счету и меры насыпаны, наставлены везде. Центр и слава этого древнего кладбища — «гробница двух братьев». Два брата эти были первые сокрушители языческого еще Мерва, первые распространители в нем ислама в дни первых арабских халифов-завоевателей, а по бухарским источникам, даже сподвижники самого пророка.

«Гробница двух братьев» — это две мечети типического персидского стиля: два громадные каменные фронтона, каждый между двойными столбами, стоят рядом, спаянные между собою маленькою каменною аркой. Глубокие ниши, вырезанные [461] островерхою аркой, характерною для арабского и персидского Востока, занимают почти все пространство этих фронтонов. На боковых их столбах в прежнее время несомненно возвышались стройные иглы минаретов, давно, повидимому, разрушенные. Это отняло, конечно, много стиля и красоты от знаменитой гробницы, но и в теперешнем своем виде она все-таки поражает путника своим роскошным величием среди безбрежных полей, обломков и мусора.

Внутренность ниш остается еще сплошь выложенною сверкающими голубыми и синими изразцами с обычными хитросплетенными узорами восточной фантазии. Колонки минаретов и наружные стены мечети тоже были некогда одеты в эту пеструю и яркую фаянсовую одежду, но уже большею частью оголялись теперь.

Самые гробы двух братьев стоят в маленьких часовеньках пред этими великолепными голубыми фронтонами. Они из серого мрамора и покрыты восточными надписями. Но меня уверяли, что профессор Жуковский, сделавший недавно археологическую экскурсию в Старый Мерв, прочтя эти надписи, убедился, что они не имеют никакого отношения к Байрам-Али, и что, без сомнения, они были привезены впоследствии из какого-нибудь завоеванного города в замену давно разрушенных гробов основателей мервского ислама. Профессор Жуковский, как рассказывали нам, пробовал делать раскопки в Старом Мерве; но средства его были так незначительны, а материал ему представлявшийся так громаден, что почтенный исследователь не мог добиться ничего существенного.

Обе мечети-фронтоны пошатнулись уже в разные стороны, правая слегка направо, левая — гораздо заметнее налево; у левой даже боковые колонны надломились посередине. Их, кажется, сдерживает пока каменная спайка. При первом хорошем землетрясении, я уверен, «два брата» окончательно рассорятся друг с другом и лягут костями туда же, куда легли в течение веков все их здешние бывшие братья; историческая мервская святыня перестанет услаждать своими чудными узорами изумленный взор путешественника, и неохватная Божья нива мертвого города не представит ему тогда ничего кроме песчаных бугров да каменных обломков...

За Байрам-Али нужно ехать в другую часть Старого Мерва — Искандер-Кала. Джигит уверял нас, что Байрам-Али — [462] персидский город, Искандер-Кала — туркменский город. Это очень может быть, и джигиту-Текинцу этого нельзя не знать. Нет никакого сомнения, что на месте древнего Мерва возникали последовательно многие города, и что владычество Иранцев и Туранцев, цивилизованных Персов и диких степных кочевников, чередовалось здесь много раз в течение тысячелетий. Байрам-Али-Хан-Кала со своими мечетями, дворцами, воротами, прекрасно сохранившимися стенами и башнями, носит на себе несомненные признаки неособенно давнего персидского пребывания здесь. С другой стороны, Искандер-Кала тоже пахнет неподдельною туркменщиной. Стены его почти совершенно разрушены, так что видны большею частью только одни громадные валы, внутри стен — тоже хоть шаром покати: груды обломков, курганы мусора, битый кирпич и черепица, обильно усыпающие песчаную почву, яма на яме на каждом шагу; сейчас видно, что тут немало копались, отыскивали старинные клады, и разрушали все, что было можно разрушить. Для туркменских становищ, для войлочных кибиток каких-нибудь Сарыков или Текинцев — эта

безотрадная равнина смерти так же привычна, так же удобна, как и всякая другая бесплодная песчаная пустыня. Они забирались со своими шатрами и стадами в глиняные стены этой огромной калы, чтобы безопасно отсиживаться от наступающих врагов, не помышляя нисколько, какой священный исторический прах попирают они своими босыми ногами.

Но имя «Искандер-Калы», к счастью, сохранило далекому потомству память о древнем основателе этого города, великом завоевателе Востока — Искандере.

Александр Македонский, впрочем, далеко не был первым основателем древнего Мерва. Начало его теряется, можно сказать, еще в доисторических потемках. Бухарцы и Персияне не даром считают Мерв самым старым городом всего мира.

Он упоминается еще в Зендавесте, где Ормузд, бог света, ставит себе в особую заслугу построение этого древнего города, говоря про него: «Я, Ормузд, создал Муру».

Мервь, Меру, Муру или Маур, как называют его в Средней Азии, считался «третьим местом благодати, в царстве Ормузда», по преданиям Зендавесты. И до сих пор восточные книжники называют его по старой памяти «Шахиджеган», то есть «царь всего мира». [463]

Александр Македонский был в Меру, столице Маргианы или Маргинии, когда шел в Бактрию, Согдиану и Индию. Воюя за Оксусом с Согдами, он переправился обратно через Оксус (то есть Аму-Дарью) и «прибыл к городу Маргинии», рассказывает Курций. Там он «выбрал место для построения шести городов вокруг него, а именно, двух с юга и четырех с востока, которые были не в дальнем между собою расстоянии, дабы по близости способнее было получить взаимную помощь. Все оные города построены на высоких холмах и были тогда как узда побежденных народов

Страбон считал таких городов, построенных Александром, не шесть, а восемь, а Юстин даже двадцать.

Эти рассказы древних, быть может, объясняют и громадный обхват, который занят развалинами Старого Мерва, и то, что развалины эти встречаются не сплошь, а отдельными гнездами. Города древних историков, разумеется, были небольшие укрепления в смысле древнерусских городков, кремлей и острожков, то есть огороженные стеной места. Такими фортами Александр очевидно опоясал громадный и многолюдный древний город, чтобы держать его в повиновении с помощью сравнительно небольших сил.

Теперешний Искандер-Кала, без сомнения, и заключает в своих пределах развалины главнейших из этих фортов или замков.

Многое заставляет думать, что города, которые в таком множестве и с такою быстротой Македонский завоеватель строил среди безлюдных степей пустыни силами своих солдат или окрестных жителей, без предварительной заготовки строительных материалов, не собирая ни откуда необходимых мастеров, все эти громко звучащие в истории новорожденные «Александрии» его были не что иное, как те же глиняные калы теперешних Туркмен и Бухарцев, вполне достаточные для сопротивления первобытным орудиям тогдашних азиатских народов.

Квинт Курций рассказывает, например, что «Александр, возвращаясь к Дону (то есть реке Сыр-Дарье) и сколько мест под стон занято было, повелел обнести стеною. Городская стена вокруг была 60 стадий. И сей город приказал звать Александриею. Означенное дело происходило с такою поспешностию, что в 17 дней от заложения стен и дома достроены [464] были. Воины друг перед другом рвались, чтоб свой урок, который каждому дан был, отделать и показать прежде».

На безлюдных глинистых равнинах Сыр-Дарьи, где не было вблизи ни лесов, ни камней, среди воинственных кочевников, набегавших со всех сторон на войско Александра, разумеется, в такое короткое время и на таком огромном пространстве можно было возвести только глиняные стены вокруг глиняных мазанок и только на такую простую, нетребующую искусства, работу было возможно раздавать уроки всем воинам под ряд. Самая цель временного обеспечения военного стана указывает на то, что Александру даже не представлялось особенной нужды заботиться о прочности построек.

Оттого-то и могло случаться, что некоторые военные колонии, или, вернее, укрепленные лагеря его, как, например, Никея и Букефалос, построенные на реке Гидаспе, размыло дождями пока он ходил в глубь Индии, так что на возвратном пути он должен был отстраивать их вновь.

Если это так, то делается понятно, почему все эти многочисленные Александрии почти не оставили по себе никаких следов в археологических памятниках Азии, почему, между прочим, и теперь пред нашими глазами, в стенах Искандер-Кала, не видно ничего кроме груд мусора и песку, в то время как развалины какого-нибудь Персеполиса до сих пор высятся в самом грандиозном виде.

Но если мало осталось здесь камней времен Македонского завоевателя, то имя его и его колоссальный образ всецело еще живет в легендах народов Центральной Азии. Древние наследственные владельцы маленьких ханств, лежащих по бассейну Аму-Дарьи, разъединяющих Афганистан и Индию от Бухары, все эти владельцы Бадахмана, Вахана, Дарваза, Шагнана, Читрала и многих местностей у границ Кашмира, искренно убеждены в своем происхождении от великого царя Искандера, и все соседи их также искренно верят в это. Знаменитый царственный историк Туркестана султан Бабер и Абул-Фазиль, биограф Акбара, оба говорят о македонском происхождении этих мелких династий и упоминают страну Каффиров к северу от Пейшавера, как местопребывание потомков Македонцев.

Таджики — коренные жители Бухары и Самарканда, жившие [465] здесь много ранее Турок и, вероятно, потомки древних Согдов и Бактрийцев, — считают Искандера пророком Божиим.

Туземцы Мерва твердо веруют, что некогда великий их Старый Мерв был построен Искандером и был при нем столицей всей Азии. Даже существует темное предание среди Туркмен, как уверяет Бернс, что они сами произошли от воинов Александра, поселенных в степях.

Мерв, или Александрия Маргийская, действительно одно время был столицей большого царства и славился во всей Азии богатством и торговлей своими, роскошью своих дворцов и мечетей и своим многолюдством.

Арабские халифы династии Омайядов, Иезид и Валид, в конце VII века мечом и копьем внесли магометанство в пустыни древней Бактрии и Маргианы, на берега Джейгуна (Аму-Дарьи), занятые тогда народами персидского корня, может быть, потомками Согдов, Бактров, Парфян. Но уже в конце IX века, когда распался Багдадский халифат, воинственное турецкое племя Саманидов надвинулось с севера из-за реки Сейгуна (Сыр-Дарьи), овладело всею страной За-Джейгунскою, Бухарою и Самаркандом, пронеслось через пески Туркмении и захватило Хоросан — древнюю Персию. С той поры утвердилось за Среднею Азией название Туркестана, — страны Турок, — и о власти арабской уже не было помину.

На низовьях Джейгуна основалось тогда, между прочим, очень сильное турецкое владение, далеко славившееся своим могуществом, Ховарезм, нынешняя Хива. Султаны Ховарезма покорили себе все окрестные народы, и в течение XII столетия царствовали в Туркестане, Хоросане и восточной Персии. Войска у них считалось до 400.000. Их-то столицей и была древняя Меру, наполненная несметными награбленными и наторгованными богатствами и ставшая одним из прославленных религиозных центров ислама.

«Правоверные, собирайтесь радостно совершать ваши утренние молитвы в Нишапур, полуденные в Мервь, вечерние в Герат, а в Багдад приходите молиться в час полуночи!» призывала поклонников Магомета популярная религиозная поэма Персов.

Эта цветущая столица Ховарезма погибла в общем потоке монгольской расы, которая в два приема, сначала в XIII, потом в XV столетии хлынула из своих неведомых северных пустынь следом за Турками. [466]

Полчища Чингиса разбило наголову последних султанов Ховарезма — Магомеда и Джелаледина, и захватили их земли, а через 250 лет Тимур, — страшный «железный хромец», — в конец разорил страны Турок. Сотни тысяч людей были истреблены, сотни городов разрушены до основания.

Один Тулуй, сын Чингиса, овладев Мервом, истребил в нем, как уверяют персидские летописцы, 700.000 жителей.

С тех пор желтый косоглазый кочевник, — истый сын Турана, — воцарился на долгие века в цветущих оазисах Маргианы, Согдианы и Бактрии, разбив свои войлочные кибитки на месте разрушенных храмов и дворцов.

«Ты был свидетелем величия Альп-Арслана, возвысившегося до облаков; иди в Мервь и созерцай его погребенным во прахе!» гласить эпитафия на гробнице Альп-Арслана, одного из Ховарезмских царей Мерва.

Старый Мервь некогда могущественных Ховарезмских владык оставил однако по себе достойный его памятник, — мечеть султана Санджара.

Она и стоит, как подобает надгробному памятнику, одна посреди громадного пепелища, унылым сторожем этой неохватной исторической могилы.

Это единственное здание Искандер-Кала, не обратившееся еще окончательно в груды мусора. Величественная мечеть сохранила еще общие черты своей изящной архитектуры.

Это громадный круглый храм, увенчанный пологим куполом, таким же каменным, как и самые стены. Круглая срединная башня храма стоит на высоком четырехугольном основании и окружена там на верху сквозною каменною галлерею такую же четырехугольную. Четыре грандиозные минарета возвышались прежде на каждом углу этой галлерей; теперь от них уцелели только основания, но и по ним можно судить об изяществе и оригинальном вкусе разрушенного здания. Голубые, синие и зеленые изразцы самых разнообразных узоров еще местами украшают остатки минаретов и окна галлерей. Здание сложено из прекрасно выжженного кирпича, тонкого, плотного, удивительно аккуратного. Это своего рода шедевр кирпичной кладки. Стены кажутся мелко и тщательно расчерченными каким-нибудь искусным геометром. Особенно красива эта мастерская кладка в арочках окон, в концентрических слоях круглого свода, где она образует настоящие узоры. [467] Внутри стен кирпичи значительно грубее и массивнее; маленькие изящные кирпичики употреблены только на наружную облицовку. Купол точно также облицован бесчисленными рядами этих кирпичиков; облицовка его уцелела только в нижнем его поясе; верх же купола оголился и выглядывает теперь посредине, как бухарская тюбетейка из обвязанной кругом нее чалмы. От этого он кажется более плоским и придавленным, чем он был в действительности.

Внутри храм поражает своею художественною простотой и величием. Громадный купол с круглым отверстием в середине держится безо всяких подпорок над широкою площадью храма. Единственною скрепою ему служат его же собственные ребра, пересекающиеся острыми дугами и представляющие собою только выпуклый узор на его внутренних спусках. И купол, и стены внутри были прежде сплошь покрыты голубыми и синими изразцами, испещренными арабесками, как этого требует персидский архитектурный стиль. Но изразцы эти уцелели только местами. Хищнические руки уже давно таскают из знаменитой мечети древности, как из неистощимого клада, всякие строительные материалы.

В последнее время мечеть жестоко пострадала от невежественной алчности Армян, — подрядчиков нашей железной дороги. Вместо того, чтобы возить Бог знает из какой дали и за какую цену нынешний плохой кирпич, они сообразили, что для них будет гораздо выгоднее воспользоваться даровым наследством султана Санджара и немилосердно стали разорять эту историческую древность. Они-то уничтожили последний уцелевший минарет, обвалив для этого поддерживающий его угол храма. Русское начальство, проведая о таком армянском вандализме, стало уже ставить потом караулы к знаменитой мечети, которую даже варвары Туркмены щадили, как былую религиозную святыню свою.

Я измерил шагами внутреннюю площадь храма. Каждая сторона его имеет 42 аршина, а толщина массивных нижних стен целых семь аршин! Высота храма, судя на глаз, не менее аршин 70 или 80.

В середине храма до сих пор стоит его главная реликвия — гробница султана Санджара, построившего в XII столетии эту великолепную мечеть.

Конечно, это не подлинная гробница; во первых, она не могла [468] бы уцелеть до наших дней после страшных погромов, которые так часто испытывал Мервь; а во вторых, достаточно рассмотреть ее поближе, чтоб убедиться в ее несомненном туркменском происхождении: она сложена, вместо всяких мраморов, из кирпича-сырца неуклюжим четырехугольным ящиком, на подобие обычных гробниц здешних кочевников, и осеняет ее обычная туркменская палка с куском тряпки, которую неизменно видишь на могиле каждого шейха.

Но тем не менее Туркмены почитают этот гроб старого султана и заезжают помолиться над ним.

Исторический храм уже довольно глубоко ушел теперь в почву, потому что почва выросла кругом него целыми курганами его же собственных развалин. Оба входа в него живописно чернеют внизу, в провале каменных осыпей...

Печальное чувство охватило мою душу, когда, удалившись на соседний холм, я в молчании смотрел на этого одинокого свидетеля многовековой истории, заброшенного в мертвой пустыне среди песков и развалин. Издали он уже не казался красивым, а темнел каким-то изуродованным глиняным колоссом, подобно всем глиняным могилам и глиняным постройкам этого унылого глиняного края... Ни птица, ни зверь, ни зеленый кустик не оживляли бесприютной сплошной могилы, которую караулит этот полуразвалившийся каменный сторож, и только большие желтовато-серые черепахи, словно тоже слепленные из глины и в глине зарождающиеся, уныло и медленно, будто сами не зная зачем, перепалзывали с одного глинистого бугра на другой...

Джигит-Текинец, провожавший нас, тоже удалился в сторону, за песчаный курган, и мне было видно издали, как он, обратясь лицом к Мекке, обливал из ладоней песком свою голову, руки и грудь... Настал час

вечернего намаза, и мусульманину неизбежно нужно исполнить завет религия, где бы ни захватил его этот священный час. Когда нет воды для омовения, Коран разрешает ему заменять воду песком...

Меня тронула и пристыдила эта крепость своей верой варвара-кочевника; а еще Туркмены считаются плохими мусульманами, почти не строят мечетей и имеют очень мало мулл; утренние и вечерние молитвы, да священный намаз — вот единственные обряды, которых они искренно держатся. Но обряды эти, хотя и вошли в религию Магомета, в сущности гораздо [469] древнее ее и, можно сказать, лежат в основе всех первобытных религий Востока. Магомет только заимствовал их, как и многое другое, что глубоко вкоренилось в нравы азиатских народов, и без чего ислам потерял бы для Азияца всякую привлекательность.

За Искандер-Кала мы проехали еще третьим городом, расположенным вправо от него и тоже составляющим часть необозримых развалин Старого Мерва.

У туземцев он называется характерным именем Гяур-Кала, «крепость неверных», стало быть христиан.

Я не углублялся в археологию Старого Мерва и не знаю, существуют ли сколько-нибудь правдоподобные предположения ученых о том, что именно было на месте теперешних развалин Гяур-Кала.

Профессор Жуковский здесь именно производил свои раскопки и остался, как я уже говорил, очень недоволен их результатом. Но я не мог не остановиться на одной догадке, которая невольно напрашивается на ум, когда слышишь в устах магометанина знаменательное название «крепость Гяуров», «крепость христиан». Известно, что в первые века христианства оно проникло в самые недоступные глубины Центральной Азии, и даже далее, в Индию.

В Бухаре, в Самарканде, в Фергане — везде возникли многолюдные христианские общины, строились церкви, управляли епископы. Особенно была распространена в этих местах ересь Нестория, которую преследовали в областях, находившихся в зависимости от греческих императоров, и последователи которой естественно старались удаляться в местности, где они могли свободно исповедывать свое вероучение.

Читая путешествие Плано Карпини в 1246 году в глубину Монголии, к Великому Гог-хану (хану-Гаюку), поражаешься изумлением, какое множество христиан находилось в полчищах первых наследников Чингиса и какое уважение оказывали их вере эти кровожадные вожди кочевых орд. Это впрочем делается понятным, когда вспомнишь, что одна из жен Чингиса и мать его были христианки.

«В Батыевом войске считается 600.000 человек, пишет, между прочим, Плано Карпини в своей известной *Libellus* [470] *historicus*, а именно, 160.000 Татар и 450.000 христиан и других, то есть неверных». Плано Карпини даже упоминает в числе земель, покоренных Чингисом, земли каких-то «Гуиров» (*terra Hyurorum*), очень напоминающих слегка искаженное имя «Гяуров»; «они были христиане несторианского толка, и Монголы, победив их, приняли их грамоту, ибо до того не имели никакого письма; теперь же эту грамоту называют Монгольской», прибавляет к своему известию Плано Карпини.

В Мерве в Средние Века тоже был центр местной христианской церкви и имел свое пребывание ее архиепископ, которому были подчинены шесть епископов.

Очень может быть, что «Гяур-Кала» есть не что иное, как развалины той части некогда громадного города, где жили отдельно от магометан и язычников тогдашние мервские христиане со своими епископами и священниками. Основательные раскопки этой местности были бы поэтому особенно интересны для Европейцев.

Вечер приближался, и было необходимо покинуть, наконец, громадное историческое кладбище, среди безмолвных могил которого можно бродить целые недели, наталкиваясь каждый день на что нибудь новое. Заходящее солнце ярко осветило своими боковыми похолодевшими лучами безмолвную пустыню, и в этой последней вспышке дня какою-то странною жизнью засверкали вдруг везде кругом пас вдали и вблизи, будто смеясь над нашими бессильными потугами проникнуть мыслью в туманы далекого прошлого, — все эти притаившиеся друг за другом могильные курганы и все торчащие над ними каменные скелеты старых мечетей, дворцов и башень...

Везде, куда бы ни ехали мы по этому полю развалин, мы на каждом шагу видели кругом себя пересекающуюся сеть глубоких пересохших арыков. Нужно было много воды, чтобы напоить население этого колоссального города, считавшееся некогда многими сотнями тысяч. Старый Мерв поился прежде большим древним каналом Султан-Ябом, который теперь сух, как юдоль плачевная. Можно даже думать, что самая река Мургаб названа была так потому, что она была питательным водным каналом великого Меру или Муру. «Мур-яб». [471]

Бухарский эмир Иаасум в прах разорил в 1784 году разбойничье гнездо Мерва, засевшее на перепутьи караванных дорог, все его укрепления, дома, мечети. Он хотел, чтобы самая память о Мерве исчезла с лица земли. 40.000 Мервцев он переселил к себе в Бухару, остальных выгнал в Персию, уничтожил все каналы и даже древнюю плотину Бенди-Султана, направлявшую через Султан-Яб в Старый Мерв воды Мургаба. С тех пор Куня-Мерв обратился в груды развалин, и только одни ссыльные Бухарцы присылались сюда некоторое время на жительство, как на каторжные работы.

Туркменское племя Сарыков заняло после этого Мервский оазис и держалось в нем до 1861 года, когда Теке в свою очередь вытеснили их южнее, к Пенде, в бывшую страну Салоров, этого благороднейшего из туркменских племен, считающего себя родоначальниками стамбульских Османлисов, и стали хозяевами оазиса.

Вечер мы провели у любезных хозяев Байрам-Али в их комфортабельном помещении, в обычной обстановке цивилизованных людей, так мало гармонировавшей с впечатлениями той дикой пустыни, которая еще всецело наполняла нас... Полковник К-ий — один из болгарских героев, раненый в битве, служил на Кавказе и в Ташкенте и вообще хорошо знаком с нашими азиатскими окраинами. Ни он, ни его молодая жена не тяготятся своею далекою пустыней, муж поглощенный новым и интересным делом, а жена занятая воспитанием детей и музыкой. Мы довольно долго беседовали сначала за сытным обедом, йотом кейфуя за чаем, со своими бывалыми и интересными хозяевами и о болгарских политических деятелях, которых они всех близко знали, и о разных туземных ужасах, которыми обыкновенно бывают так напуганы путешественники, обо всех этих пендинских язвах, рештах, сартовских прыщах, скорпионах, фалангах... Довольно поздно пришлось возвратиться домой и готовиться к раннему отъезду с утренним поездом железной дороги. [472]

IX.

Пески Кара-Кум.

Черная железная стоножка опять поползла по своей черной железной тропке, чуть пробитой в желтых песках, сгибаясь на поворотах своими железными суставами, гремя своими железными лапами, потрясая воздух безлюдной пустыни своим железным воплем и извергая из себя черные клубы своего нечистого дыхания.

Пустыня сторожит человека у самых палат и садов Байрам-Али. Шагнул один шаг из этого оазиса воды, зелени, жизни, — и уже в объятиях ее. Она здесь царит, — и никто больше. Ничтожные жилки воды бороздят только крошечный угол ее и к ним сбилось все крошечное человеческое население, все его аулы и городки. Но она осадила их, она охватила их со всех сторон своими несметными силами, своим безбрежным простором, как море охватывает одинокую скалу острова.

Пустыня живет своею свободною могучею жизнью и не хочет знать никакой другой жизни рядом с собою. Этот дикий зверь еще не укрощен никакими оковами и при первом взрыве гнева истребляет все, что неосторожно приближается к нему, что наивно доверяет его кажущемуся сонному покою...

Освещенные ярким солнцем обломки стен и башен Старого Черва, будто добела обглоданные костяки, торчащие из могильных курганов, долго еще провожают нас издали. Они словно нарочно здесь на рубеже пустыни, чтобы наглядно подтверждать человеку, как безнадежна его борьба со стихией смерти...

Могильные холмы погребенного здесь великого города древности незаметно переходят в другие могильные холмы, — холмы песков, — под которыми погребена всякая жизнь...

Курганы эти, сначала несколько глинистые, с каждым шагом дальше, в глубь пустыни, делаются все песчанее, и [473] наконец превращаются в необозримые полчища наваленных друг на друга холмов сыпучего песка. Это так называемые «барханы», или «баиры». Несколько станций железной дороги тянутся этими сплошными песками, которые в самом узком месте своем имеют не меньше 200 верст.

Впрочем, эти песчаные могилы имеют свою оригинальную могильную растительность, по крайней мере, на краю пустыни.

Всевыносливые корни саксаула умудряются докопаться до необходимой им влаги, даже и в горах сухого песка.

Это настоящее верблюд-дерево: как верблюд — неприхотливое и терпеливое, способное подолгу переносить голод и жажду; как верблюд — уродливое и как верблюд — крепкое.

Низкие корявые кусты этого удивительного обитателя песков так капризно изломаны и изверчены в каждом своем суке, что дерево кажется издали не живым, а выгнутым из железных прутьев. Оно и видом какое-то железное, серостального цвета, да и твердо как железо, до того, что топор не берет его. Сучков и ветвей в нем видимо-невидимо, словно огромная растрепанная метла торчит из песков. А корней и того больше.

Саксаул разрастается роскошнее в темном нутре утробы земной, чем на иссушающих лучах южного солнца. Когда песок обдует около корня, с изумлением видишь какой густой букет толстых канатов вгрызается, топырясь во все стороны, в рыхлые недра песчаных кучуров. Этими-то многочисленными, глубоко разветвляющимися присосками своими саксаул пьет соки жизни из бесплодной и жесткой груди своей махи-почвы. Зелень этого дерева песков вполне подходит к безжизненному тону всей пустыни: на перевитом в жгут сером стволе, покрытом шишковатыми наплывами, будто верблюжьими коленками мозолями, тускло мерцает какая-то серозеленая, сухая и бледная листва, скорее похожая на мягкую хвою можжевельника. Иные кусты даже в весеннем цвету жалкая насмешка над цветами и над весной! Эти мелкие бледно-желтые цветки так же тусклы и худосочны, как и сама зелень саксаула.

Омертвевшие серые прутья прошлого года, не успевшие опасть за короткую зиму, густо перепутанными вениками наполняют собою чащу кустов и придают им еще более мертвенный вид. Саксаул, даже и сухой, рубить очень трудно: он крепок, [474] как кость; но за то он и хрупок, как кость. Оттого его не рубят, а ломают, или с корнем выдергивают из рыхлой почвы.

Один из наших старых путешественников, Кандалов, хорошо познакомившийся со свойствами саксаула во время долгих странствований по киргизским степям, в своей «Караван-записке 1824-25 года» в таких характерных выражениях описывает это своеобразное дерево:

«Крепость его удивительна; в нем заключается твердость необычайная; никакой топор не может устоять против него. И как срубить его, кроме молодого, почти невозможно, то и употребляется другое средство: стоит только сильнее ударить ногой под корень, и самое большое дерево свалится, но не сломится, а расколется. Оно так тяжело, как камень, а горит как масло. Запахом очень приятно, но плода никакого не приносит. Ветви его очень тонки, мягки и с удобностью употребляются в пищу для скота. Особенно верблюды очень их любят. Наконец, лист на саксауле толстый, продолговатый, желтоватый, который, как на сосне, бывает и зимой, и летом все одинаков».

Саксаул можно назвать «камень-дерево»; не только крепок, как камень, но и безвредно, как камень, переносит по несколько месяцев сряду шестидесятиградусное пекло под вечно безоблачным небом, как камень, может жить среди полного отсутствия жизни. Трудно постигнуть, где почерпает он эту свою невероятную силу выносливости. Хотя он глядит по наружности деревом смерти своего рода, но в сущности это дерево величайшей жизненности. Не будь его, этого единственного кормильца и единственного украшения мертвой пустыни, — пропали бы здесь и люди, и звери. Им кормится, им греется, под тенью его находит приют все кочующее в этом море песков: — Туркмен так же как и его верблюд, так же как джейран и дикий осел.

Вон посмотрите, — на кучугурах густо заросших саксаулом виднеется между кустами и реденькая уже пожелтевшая травка и какое-то бледное подобие цветов.

Конечно, теперь только половина апреля, и дождливые зимние месяцы успели пропитать сыростью даже всегда сухие песчаные холмы, образовать на них легкую корочку, в которой могло угнестись занесенное ветром семечко. Конечно, в [475] первых числах мая тут уже не останется самого легкого следа этой мимолетной зелени. Но все-таки зелень эта могла пробиться наружу только под тенью саксаула, только в слое песка, удобренного его листьями и сучьями. Оттого-то там где саксаул, то и дело видишь в курганах черные дыры звериных норок; тушканчики, зайцы, джейраны и ослы держатся в саксаульниках до наступления палящих жаров лета.

Вон и рабочие железной дороги Армяне и Персы, расстелив халаты сверх кустов саксаула, прикурнули под ними от жара на сухом песку и спят сном праведных, как в раскинутом шатре, отдыхая от утомительной работы. Тут же неподалеку курится потухающий костер из сухих сучьев того же саксаула, на котором они только что варили себе кашу. Саксаул, как видите, служит тут всем и всякую службу!

Да если хорошенько всмотреться, он держит в своих руках и самую эту грозную пустыню. Он смиряет и сковывает ее буйные лески, которые ежечасно готовы были бы двинуть свои истребительные тучи на погибель всякой жизни, всяких усилий человека. Связывает и сковывает во всей буквальности. Когда бесконечная лента железной дорога вдвигается глубоко в разрезы огромных песчаных холмов, взгляните вверх на эти разрезы: отовсюду выпирают и лезут из них длинные лохматые лапы, словно лапы гигантской фаланги, — обитательницы этих песков; отовсюду тянутся и вцепляются в землю натянутые, как корабельные канаты, темно-серые корни саксаула. Только ими связываются сколько-нибудь, только ими сколько-нибудь прикрепляются к родимой почве эти исполинские зыбучие волны песчаного океана...

После проведения через пески Закаспийской железной дороги Русское правительство строжайше запретило Туркменам истреблять саксаул в местностях, прилегающих к полотну дороги. Кого поймают на порулке, отбирают и арбу, и осла, и топор. Лучшего ограждения как эти природные зеленые щиты, расставленные на всевозможных расстояниях кругом рельсового пути, разумеется, придумать невозможно.

На станции с нами встретился воинский поезд, направлявшийся из Самарканда в Узун-Ада. Штук двадцать товарных вагонов были битком набиты солдатами разных [476] туркестанских батальонов, отчисленных в запас после шестилетней армейской службы. Все солдатики оказались из Пермской губернии, так как их нарочно сортировали по местностям для удобства отправки. Я с теплым родственным чувством потолкался между них, заговаривая то с одним, то с другим. Среди песков азиатской пустыни, среди диких туркменских физиономий — эти подлинно русские люди казались мне такими близкими братьями. Не шумливое веселье, а спокойное и глубокое счастье светилось в глазах каждого из них, проникало все его существо. Я сам чувствовал себя счастливым, глядя на эти простые души, переполненные младенчески радостным сознанием своей свободы, своего возвращения в далекое родное пепелище.

— Домой едете? Довольны небось? спросил я одного белобрысого солдата с покорно-кротким выражением лица.

— Какже не довольны!... словоохотливо ответил он, весь вдруг осклабясь какою-то детски счастливою улыбкой, от которой у него, казалось, засверкали и глаза, и белые зубы, и все его бесхитростное конопатое лицо.

— Женатый небось? Жинка ждет? продолжал я.

На белобрысой физиономии рот осклабился до самых ушей.

— А какже-ж! Закон приняла, должна мужа ждать... Всего и пожил с нею полтора года... только что мальчёнка к Покрову родила, а на Варвару меня в полк угнали... сияя и вместе смущаясь ответил солдатик.

Я подошел к другой группе. Там плечистый и рослый молодец не в форменной белой, а уже в вольной кумачевой рубахе, расшитой желтым по красному, какую — нибудь мимолетною зазнобушкой, — ловко и уверенно увязывал какой-то тючек, нажимая на него коленом и перекидаваясь в то же время словами с окружавшими его товарищами

— И вы, ребята, тоже в Пермскую? спросил я.

— Все в Пермскую, ваше благородие... ответил за толпу бойкий молодец. — Мы все из-за Камня... Одного выводка... Так все одним роем на свою сторону и потянем...

— Соскучились здесь небось, среди Азиятов?

— Как не соскучить, ваше благородие! Добро бы своя расейская страна, а то дичь, мухамеды... Сами изволите видеть: скверность одна! Церкви Божьей нигде не увидишь... Не дождемся, когда на Русь выдеремся!.. радостно вздохнув, заявил солдат. [477]

— Теперь нисколько! теперь, брат, чугушка, — не на своих толкачах песок месить!.. Живым духом доставит!.. ухмыльнувшись довольною и самоуверенною улыбкой, успокоил его один из товарищей...

— По морю ж опять теперь проходы сквозь проходят, по Волге-реке проходы, по Каме-реке — проходы... Теперь, брат, порядки заведены не по старому!..

Мы успели побродить и по барханам, окружающим станцию, стало быть, много или мало, а все-таки собственными ногами попирали великую пустыню.

Барханы кажутся зыбучими только издали. Когда же взбираешься на них, то нога такого ничтожного насекомого, как человек, даже едва оставляет след в этом плотно слегшемся и чрезвычайно мелком песке серобурого цвета. Только тяжелые толкачи нагруженных верблюдов сколько — нибудь погружаются в этот упругий песок. Но, конечно, это не мешает ветрам пустыни поднимать когда им вздумается целые летучие облака из этих, повидимому, неподвижных холмов!

В песке барханов мы находили оригинальные окаменелости самого разнообразного вида: какие-то кристаллизованные сверкающие звезды из темной массы, напоминающей серный колчедан, какие-то спекшиеся фигуры и причудливые сrostки, в виде полипняков... Но еще чаще, чем эти загадочные палеонтологические обитатели песков, попадались нам среди них и понапрасну пугали нас пресловутые фаланги. Они быстро как на ходулях перебежали через песок на своих высоко-приподнятых лапках и не только не имели злого намерения напасть на нас, а еще сами удирали от нас во все лопатки. Впрочем, местные жители уверяют, что если замахнешься на фалангу палкой, то она прыгает прямо на человека, и притом очень высоко. Этот длинный и крупный паук, с тонко-перехваченным, чуть не на двое порванным тельцом, считается здесь опаснее даже скорпиона. У фаланги четыре кривые зуба, по два в каждой челюсти, и она наносит ими четыре ранки, которые болят очень долго. Скорпион же кусает не зубами, а вонзает острое жальце своего вечно загнутого вверх хвостика. Он жалит даже против воли, [478] автоматически; раз он упал на вас, жало его само собою вонзается в тело. Если он ужалил в палец, то распухнет вся рука до самого плеча, но дня через два обыкновенно проходят и боль, и опухоль.

Саксаул тянется сколько-нибудь сплошными кустами только до станции Курбан-Кала. Дальше его уже почти невидно. Только изредка торчат, затерянные в пустыне, одинокие кустики. Но это уже не те сильные многоветвистые кусты, что с такою своеобразною живописностью провожали нас до сих пор на макушках своих песчаных холмов. Теперь это какие-то чахлые деревца, в нитку вытянутые, аршина в три высоты, с мягкими плакучими ветвями, напоминающими затощавшую березку дальнего севера, только еще бледнее, еще худосочнее. Издали они кажутся какими-то сквозными привидениями, так что солнечная тень от них на песке кажется более густою, чем они сами.

С Учь-Аджи начинаются голые пески. Они разрастаются все безотраднее к станции «Пески» и особенно к «Каракул-Кую» и «Барханам». Самые названия станций уже дают предчувствовать что-то зловещее. Ужас охватывает душу, когда окидываешь смущенным взором это безбрежное песчаное море, залитое ослепительным сверканием солнца...

Песчаные барханы бесчисленными стадами горбатых чудовищ облегли жалкую муравьиную тропку нашей дорога, подымаясь далеко выше вагонов, и загораживают от нас все кругом. Они серожелтые, как все грозные хищники пустыни, как шкура тигра и льва, среди них живущих в них зарождающихся. Степные ветры избородили поверхность барханов частою рябью, как морщинами живой кожи, и сделали ее еще больше похожую на полосатую шкуру тигра, — этого зверя пустыни, воплотившего в себе всю ее яростную стремительность, все ее беспощадные инстинкты истребления... Жутко ехать многие часы через это царство

смерти! Горы, пирамиды, валы и гребни, глубокие котловины, узкие вьющиеся теснины — провожают с обеих сторон безостановочно несущийся поезд. Кажется, будто едешь сквозь застывшее в девятом вале безбрежное море, взбаламученное каким — нибудь тропическим ураганом, и еще все покрытое зыбью... [479]

Чуть приметные черные линии рельсов, отовсюду задвинутые песками, представляются моему воображению мифологической нитью Ариадны, которая одна помогает нам выбираться на свет Божий из этого бесконечного лабиринта песчаных волн...

Изумительно, как до сих пор эти движущиеся громады, со всех сторон напирающие на едва расчищенную полосочку железной дороги, не засыпали ее бесследно; казалось бы, для этого было достаточно одного мощного вздоха пустыни.

Французы, замыслившие соединить свои алжирские владения со своею колонией в Сенегамбии и перерезать для этого рельсовым путем великие пустыни Сахары, приезжали, говорят, в наш Закаспийский край познакомиться с теми хитроумными изобретениями, которыми генерал Анненков обеспечил свою железную дорогу от постоянного заноса песков...

Они с изумлением увидели то, что мы теперь видим, и убедились, не веря своим глазам, в том, в чем и мы в эту минуту убеждаемся, — что никаких защит от песков на Закаспийской железной дороге генерала Анненкова нет и не было и что со всем тем дорогу эту пески все-таки не заносят, а она себе по добру по здорову катает ежедневно свои поезда от Каспия к Самарканду и от Самарканда к Каспию.

Единственное приспособление к защите от песков, которое я здесь заметил, — это ветки саксаула, положенные рядами, метелкой наружу, по краям железнодорожной насыпи в тех местах, где полотно сколько-нибудь приподнято над почвой. Но таких насыпей тут мало, а дорога большею частью врезается в песчаные холмы и идет между ними в глубоком русле; тут уж никакие ветки саксаула помочь не в силах. В иных же местах рельсы лежат прямо на гладкой песчаной равнине, так что нет возможности различить полотно дороги от окружающей почвы...

Защищает путь от песчаных заносов Николай Угодник и простая метелка. Солдатики-сторожа, солдатики-рабочие сметают себе потихоньку с железных рельсов все что наметают на них ветры пустыни, да и дело с концом. В придорожных караулах тех станций, которые идут песками, для этого держится усиленный состав рабочих. Кроме того, рабочие берутся и в самые поезда. Как только окажется, что путь где-нибудь занесен, походная команда сейчас же [480] вылезает со своими метлами и в несколько минут расчищает рельсы. Впрочем, далеко не всякий ветер порождает заносы пути. Если ветер дует вдоль пути, сзади или навстречу поезду, то песок свободно проносится по скользким рельсам и не задерживается на них. Только пески, которые гонятся боковым ветром поперек рельсов, останавливаются ими и заметают путь.

Песчаный океан перерезается однако не одною этою железною нитью Ариадны: не одна только «Шайтан-арба» («чортова повозка»), — как называют Туркмены локомотив, — путешествует по этим выпучим волнам.

Верблюд, — ветхозаветный «корабль пустыни», который уже был старою стариной во дни первых событий Библейской истории, при Аврааме и Иакове, — еще продолжает мерить своими неспешными и неустойчивыми шагами безбрежные песчаные равнины, перенося на своем выносливом горбу, с терпением верного раба, товары Хорасанцев, Афганцев и Индусов к берегам древнего Оксуса, на базары Чарджуя и Карки, Бухары и Самарканда...

Великая пустыня песков, эта Сахара Средней Азии, разделяющая Персию, Хорасан и Афганистан от бассейна Аму-Дарьи, от ханств Хивинского и Бухарского, обыкновенно величается туземцами Кара-Кум, «черные пески»; кочевники Средней Азии вообще придают это популярное у них имя самым опасным и бесприютным песчаным равнинам своим, в Киргизии, Бухаре, Монголии, точно так же как в Туркмении. Оттого вы встретите на картах Средней Азии далеко не один «Кара-Кум».

Но туркменские «Кара-Кум» — это пески из песков, пустыня из пустынь. Они тянутся от берегов Каспийского моря, где в 400, где в 300 и 200 верст ширины до мелких ханств, так называемого Афганского Туркестана, охватывающих верхнее течение Аму-Дарьи и его притоков, там где стоят большие торговые центры Азиатской пустыни Андхой, Маймене, Балх, Кундуз и пр.

Тропы, пробитые тысячелетиями, незаметные как муравьиные следки на вспаханном поле, тянутся через взбаламученные ветром пески Кара-Кума из Нерва, Герата, Мешед, Маймене, на многие сотни верст, незабываемые туземцами из поколения в поколение; знание этих неуловимых и запутанных путей — есть великий талант и великая добродетель среди людей [481] пустыни. Караван-баши — вожак караванов — пользуется в глазах кочевников особенным уважением и авторитетом; это своего рода мирный сардар, — опытный вождь аламанов. Караван-баши почти всегда богатый человек, потому что путеводительский опыт свой он почерпнул в частых и удачных торговых походах через пустыни, имеет много своих и наемных верблюдов, и обыкновенно бывает больше других участников каравана заинтересован в его благополучном и скором прибытии к месту назначения.

Мы не раз переезжали поперек большие караванные пути пустыни и ехали подолгу рядом с ними. Для неопытного глаза пути там нет ровно никакого. Тот же глубокий выпучий песок, как и везде кругом; только частые следы верблюжьих ног, заплывающие песком сейчас же по проходе, и едва поэтому заметные даже в тихую погоду, обозначают какую-то смутную полосу, вьющуюся по холмам и ныряющую в лощины. Точь-в-точь неверные, сейчас же застилаемые следки на наших снежных равнинах во время поземки. При малейшем ветре следы эти замечаются дочиста.

Вот мы теперь едем знойным и совершенно тихим днем, а между тем все гребни и макушки песчаных барханов потихоньку курятся себе легкими дымками от какого-то незримого дыхания необъятной равнины и потихоньку, но основательно заглаживают все, что только могут сгладить.

Ко тонкий глаз караванного вожаки не нуждается в этих грубых признаках пути. Он скорее чувствует, чем видит его. Ему достаточно изредка только ухватить мимолетным взглядом какую-нибудь высунувшуюся наружу белую кость дохлой лошади или верблюда, какое-нибудь темноватое пятно среди девственной желтизны песков, чтобы попятить общее направление дороги. Караван-баши двигается со своим караваном через пустыню как перелетная птица через моря и степи, намечая себе только самые крупные, на больших расстояниях разбросанные приметы пути, какое-нибудь соленое озерцо, какую-нибудь развалину древнего кудука, и как птица инстинктом направляется на них.

Конечно, и верблюды играют тут немалую роль. Как наша умная крестьянская лошадь в самую безнадежную снежную куру может чутьем вывести к жилью сбившийся с дороги обоз, так и верблюд, вековечный обитатель пустыни, привык [482] чуют издали сладостный для него запах воды, и сам собою потянет к колодцам, естественным и единственным станциям пустыни.

Все многочисленные караванные пути, перерезывающие в различных направлениях пески великой Среднеазиатской пустыни, определяются в своем направлении колодцами. На одних путях они чаще, на других реже, на одних обильнее, на других скуднее, на одних соленее, на других слаще; но все-таки каждый караванный путь есть не что иное, как ряд колодцев ближе или дальше отодвинутых друг от друга и идущих последовательно чередой через всю пустыню от одного торгового пункта до другого.

На некоторых, конечно, самых удобных караванных путях колодцы встречаются так часто и следуют друг за другом по такой ясно определенной линии, что невольно приходит в голову, уж не занесенное ли это русло какой-нибудь старой реки?

По крайней мере я лично сильно подозреваю, что так называемый «Иол-кую», этот самый короткий и очень старый караванный путь из Мерва к Аму-Дарье, по направлению к Самарканду на Бурдалык и Карши, идущий некоторое время почти по самой линии нашей железной дороги, а потом уклоняющийся от нее под легким углом вправо, — есть не что иное как нижнее течение реки Мургаба, когда-нибудь доходившей до Аму-Дарьи и в нее впадавшей, но в течение веков заваленной песками, и теперь теряющейся в пустыне бесчисленным множеством обессиленных мелководных рукавов, болот и озерок.

Иначе трудно объяснить себе такое множество близких друг к другу колодцев, направляющихся по прямой линии от Мерва к Аму-Дарье и на карте производящих впечатление какого-то сплошного течения.

Очень может быть, что и другие подобные же караванные дороги, расходящиеся из Мерва как пальцы руки от ладони, например Учъ-Хаджи и Рафатак, направляющиеся прямо к Чарджую, — тоже старинные рукава Мургаба. Ведь нужно же, в самом деле, думать, что и Мургаб, и другие притоки Аму-Дарьи, когда-нибудь да впадали же в нее. А ведь теперь не только наши Мургаб и Теджен, но и река Балх, и река Хулум в Афганском

Туркестане, текущие еще выше Мургаба [483] и менее подверженные действию песков, тоже не достигают волн Аму-Дарьи, а теряются за несколько десятков верст от ее берега.

Конечно, преждевременному истощению их способствуют бесчисленные арыки, которые на всем пути этих рек разбирают их воду, но ведь и с Мургабом та же история с незапамятных времен!

Длинная цепь нагруженных верблюдов, будто живая иллюстрация моих мыслей, стала медленно вылезать из закрытой барханами лощины на гребень песчаной гряды...

Старик-Текинец, кофейного цвета, в белой лохматой бороде и белой лохматой шапке, низко свесив с крошечного ослика сухие костяки своих босых ног того же кофейного цвета, с суровым безучастием едет впереди, не оглядываясь на ненавистную ему «шайтан-арбу».

В руках у него длинный шест, — знак его власти надо всем этим верблюжьим отрядом, — а к седлу его прикреплен конец шерстяной веревки, за которую привязан передний верблюд. Второй привязан к первому, третий ко второму, и так дальше до последнего верблюда, словно все они нанизаны на одну бичеву, как связка бубликов.

Мирною неспешною походкой, выкованною тысячелетиями, взбираются на холмы гуськом друг за другом, терпеливо покачивая свою тяжелую ношу, эти прирожденные выюки-звери, вырежутся на минутку своими уродливыми силуэтами на знойном фоне неба и исчезают один за другим в глубокой впадине, куда спускается караванная тропа, словно пустыня вдруг разом проглатывает их. Бон они еще раз показались вдали на макушке высокого бархана, поднимаясь на него тою же медленною чредой, и еще раз словно провалились в незримую для нас пропасть, и опять вынырнули, и опять погрузились куда-то, следуя капризным поворотам тропы, извивавшейся между этим необозримым архипелагом песчаных холмов, нырявшей в его котловинах и ущельях, карабкавшейся на песчаные гребни, похожие друг на друга как две волны, где ни один куст, ни один камешек на пространстве сотен верст не помогал заметить направления и поворотов пути.

Верблюд, серобурый, как эти барханы, кажется, рожден [484] из песков и для песков. Мне делалось просто жутко следить глазами за все более и более удалявшеюся от нас кучкой верблюдов, которая казалась мне издали жалкою одинокою комашкой, безнадежно затерянною среди неоглядных волн моря...

Как найдут они среди них свой путь, как выберутся они из этого безысходного лабиринта?

А между тем Азияты до того привыкли к своим старым караванным дорогам и к своей четырехногой живой повозке, что до сих пор гораздо охотнее и чаще возят товары из России давно наезжанным путем через Оренбургские степи на верблюдах, чем в вагонах Закаспийской железной дороги. Знающие туземцы уверяли меня, будто кружный путь из Москвы на Тифлис и Узун-Ада со всякого рода перегрузками обходится для товара много дороже, чем прямой путь в Ташкент и Самарканд на Оренбург.

За станцией «Барханами» я с удивлением увидел вправо от дороги и недалеко от нее развалины каменной башни и примыкавшего к ней блокгауза.

— Чего вы дивитесь? в песках много таких развалин! остановил мои порывы один из сидевших в вагоне местных жителей. — Вот проедем несколько верст, так там недалеко, — жалко нам не будет видно с дороги, — целая куча построек в одном месте сбита; кругом пески голые... И понять даже нельзя, зачем строены. Город что ли был старинный, кто его знает?..

— А вы как же видели их? полюбопытствовал я.

— Да во время работ, когда железную дорогу строили. Я тут на станции подрядик кой-какой имел. Так в свободное время забавлялись, ездили в эти самые пески, за джейранами охотились, ну и видали много этих самых развалин...

— А Текинцы? они уж наверное знают, что это были за постройки?

— Ничего они не знают. Говорят, караван-сарай были старинные... кудуки... то есть, колодцы ихние большие... да так врут наобум... Почем им знать!.. А видно, что старина. Кирпич такой, что в Асхабаде теперь не сделают... аккуратный [485] из себя, легкий, звонок, как серебро... Вот и в Мервском округе то же. Старый Мерв видали? Так ведь там помимо Старого Мерва по всему Мургабу развалины старинные. Мне случалось к Сарыкам ездить. Там скрозь везде башни, такие же вот как тут видите, города целые в развалинах... Древность, одно слово!

В сущности и удивляться нельзя, что в пустыне этой столько развалин.

Ведь мы теперь в самом сердце древней Бактрии, классической страны песков и верблюдов. Не даром и зоологи называют двугорбого верблюда Бактрийским верблюдом.

Повидимому, Бактрия времен Александра Македонского заключала в себе теперешние местности Афганского Туркестана, по левому берегу Аму-Дарьи, то есть Кундуз, Хулум, Балх, Андхуй, Маймене, и вместе с тем прилегающие к ним песчаные пустыни восточной Туркмении, через которые мы теперь едем. Развалины древнего города Бактры, разрушенного Чингис-Ханом, до сих пор показывают около Балха, раскинутые на 50 верст в окружности, оттого Балх пользуется глубочайшим уважением Азиятцев; они считают его одним из первых человеческих поселений на земле и «матерью городов Востока». По их убеждению, возрождение древнего Балха будет означать приближение конца света. Балхом он стал называться уже в Средние Века. Прежде его знали под именем Бактр. А Бактры были богатейшим торговым городом Азии и центром караванных дорог. В Бактрах было местопребывание Зердушты или Зороастра, основателя древней религии Персов. Поэтому в течение многих веков Бактры оставались главным гнездом магов, последователей его.

Теперь этот город, подобно Вавилону, Ниневии, Бальбеку, служит, но выражению Бёрнса, неистощимым рудником кирпичей.

Но воспоминание о городе Бактрах и о стране Бактриане сохранилось в преданиях народа. До сих пор, как уверяет Бёрнс, вся местность между Балхом и Кабулом носит у туземцев название «Бахтар-Земин» (страна Бахтар).

Александр Македонский проник в Бактрию уже из-за Паропамиза (или Кавказа, как называли его тогда). До Бактрии [486] он нигде не встречал песков и пустыни, а двигался более или менее населенными местностями.

«Бактрианская земля многообразное имеет свойство, пишет историк Александра Квинт Курций. Инде растет довольно леса и изрядно винограда родится; тучная земля многими источниками напояется; на умеренной хлеб сеется, а прочие места скоту на пажити оставляются. Большая же часть оной страны песчаная и бесплодная и ради чрезмерной суши ни люди там не живут, ни плоды не рождаются; а когда ветры восстают от Понтийского моря, тогда весь песок на степях без остатка в бугры сметается, который кажется великими холмами, и тогда все знаки проложенных дорог погибают. И того ради путешествующие теми местами, как плавающие по морю, в ночное время примечают звезды, и по их течению управляют путь свой, и ночная темнота почти яснее дневного света.

Но где способнейшие места, там живет множество народа и лошадей довольно родится. Самые Бактры, столичный город той страны, стоит под горой Паропамизом; подле города течет Бактр — река, по которой и город и народ называется».

Читая это обстоятельное и ясное описание древнего историка, можно его во всей буквальности применить к теперешнему состоянию песчаной туркменской пустыни и прилегающих к пей плодородных стран по течению рек, подобных оазисам Мерва. Маймене, Балха и пр. За 22 века до нас, оказывается, здесь было еще большее многолюдство и еще большее плодородие чем теперь; так же воспитывались славные степные лошади, так же вино добывалось из винограда. Но и Кара-Кумы, и барханы их за то были те же, те же и караванные пути, и путевые невзгоды. Видно, Азия не ушла ни на шаг вперед со времени Дария Персидского.

Интересно описание похода Александра к Оксусу (Аму-Дарье), через те самые раскаленные песчаные пустыни, которые теперь безотрадно стелются кругом нас, обжигая, кажется, самый воздух, и которые тогда назывались Бактринскими и Согдианскими степями.

Александр, оставив в Бактрах обоз, «сам с легким войском вступил в Согдианские степи, продолжая путь ночным временем.

Через 400 стадий ни капли воды не найдено. Пески от [487] летнего солнечного жара разгораются, которые по распалении все как огонь разжигают.

Уста и внутренность совсем запекаются. Итак сперва дух, а после и тела ослабевало».

Тут-то именно и случился тот эффектный эпизод, о котором историки и моралисты трубят юношеству который уже век.

В самый разгар жара и усталости Александрова войска «из посылаемых наперед для занятия под стан места двое попались навстречу, которые несли в мехах воду для детей своих, в полках находившихся.

И как они с царем встретились, то один из них, развязав мех, налил сосуд воды и поднес Александру, который, приняв воду, спросил: кому они несут? И уведав, что детям, отдал им обратно, ни мало не прикушав, с таким ответом: "мне и одному пить, и такой малой меры на всех разделить — нельзя! Поспешайте, и детей своих, для которых несете, напоите!"» Достигнув Оксуса, множество воинов Александра умирало тут же на берегу, опившись воды.

Оригинальна была переправа Македонян через быстрыны Аму-Дарьи.

«Судов не имелось, и моста через реку сделать было не из чего, потому что около реки голые степи, и леса никакого не находится».

Александр приказал набить соломой кожаные мешки и лежа на них воины переправлялись через широкий Оксус. На шестой день все войско было уже на правом берегу Аму-Дарьи, в Согдиане, то есть теперешней Бухаре.

Все эти события, отодвинутые от нас на расстояние чуть не 2 1/2 тысячелетий, так еще пахнут теперешними делами, теперешними условиями местности, теперешними туземными обычаями, что, кажется, будто рассказ идет не о походе Македонян на Согдов в IV веке до Рождества Христова, а о каком-нибудь недавнем Хивинском или Ахал-Текинском походе наших героических русских солдат.

Монгольские кочевники, сроднившиеся со степью, можно сказать, степью порожденные, — стеснялись ею гораздо меньше, чем какие-нибудь Македоняне. Когда великие вожди завоеватели, подобные Чингису и Тимуру, объединили в одно громадное царство всех кочевников Азии и почували свою грозную силу, то [488] они не могли, конечно, терпеть, чтобы вольные пески пустыни одни не подчинялись их всемогущей воле. Они строили среди этих песков колоссальные кудуки и робаты, — хранилища вод, — проводили эти воды искусно устроенными водопроводами иногда за несколько дней пути с какой-нибудь горы или озера, воздвигали среди пустыни обширные караван-сарай для путников и товаров их, башни и замки для защиты, гробницы над могилами благочестивых мужей, погибавших в степи.

Развалины этих-то грандиозных сооружений былых деспотов встречаются до сих пор среди безграничного простора сыпучих песков, возбуждая недоумение и удивление современного путешественника.

По преданиям Кашгарских Сартов, как рассказывает в своей книге английский путешественник Роберт Шоу, Чингис-Хан устроил водоемы на каждой стоянке в пустыне. Вода на все его полчища заранее привозилась на верблюдах и вливалась в водоемы. В шатре его, уверяет предание, помещалось 10.000 человек, а хан угощал своих гостей чаем в чашках из драгоценных камней.

Испанец Рюп-Гонзалец де Клавихо, отправленный в 1403 году от Кастильского короля Генриха III послом к Тамерлану и оставивший нам любопытный рассказ об этом путешествии, ехал в Самарканд через Трапезунд и Ерсинган, стало быть, не мог миновать песчаного моря Каракумов. Просвещенный гражданин тогдашнего цивилизованного европейского государства был поражен стройным и строгим порядком, с каким монгольский кочевник устроил почтовые сообщения в своем необъятном пустынном царстве.

Через каждый день пути содержались станции на 100 и на 200 лошадей; в степях были выстроены огромные постоянные дворы, и окрестные жители обязаны были снабжать эти помещения всеми необходимыми жизненными припасами; где не было воды, всюду были проведены водопроводы. На дорогах поставлены были столбы для обозначения расстояния...

«Кто сам не видел, тот не поверит, как ездит этот проклятый народ!» в наивном изумлении заключает Дон-Клавихо.

Особенное уважение оказывалось царским посланцам. Послов должны были угощать везде; даже в поле им расстилались ковры в тени дерева, подавался кумыс, хлеб, рис [489] и баранина. Если жители города или села не угощали добровольно, то воины, провожавшие послов, накидывали пояс на шею первому попавшемуся прохожему и, сидя сами на лошадях, тащили его за собою и били палками и ногайками, пока он не указывал им дома старшины.

«Люди, которые видели их на дороге и узнавали, что это царские слуги... принимались бежать точно будто дьявол гнался за ними», повествует простодушный Испанец. «А те, которые были в своих палатках и продавали товары, запирали их и тоже пускались бежать и прятались у себя в домах; а проходя говорили друг другу: Ельчи! то есть посланники! так как уже все знали, что с посланниками приходили черные дни».

Старшин тоже били дубинами и все, что нужно, требовали даром.

«Если кто едет по дороге верхом, рассказывает далее Клавихо, будь он князь или кто-либо другой... и попадется ему такой человек, который едет к царю, и прикажет встать и отдать ему лошадь, потому что он едет к царю, или пошлет его с каким-нибудь поручением, он должен сейчас же пополнить и не смеет отказаться, потому что за это заплатит головой: такова воля царя».

По истине Тамерлановская воля и Тамерлановская дисциплина! Но она тем не менее достигала своей цели, и пустыни Азии делались через это доступными даже в те давние темные века.

Х.

Переправа через Аму-Дарью.

Теперь пустыня, можно сказать, перестала существовать. Железная дорога убила ее. Нигде как среди этого моря песков, в котором погребено столько человеческих жизней, в котором люди в течение целых тысячелетий терпели столько мучительных трудов, лишений, страданий, опасностей, — нигде так наглядно не убеждаешься в неоценимом значении парового пути. Эти, с виду простые, две железные нити, что чуть чернеют среди песчаного потопа, в сущности связали истинно-железными скрепами далекие друг от друга и всегда [490] разобщенные человеческие миры. С одной стороны они железными оковами легли на все враждующие разрушительные силы, разобщавшие Европу от Средней Азии, опоясав собою, как рассыпанное колесо шиной, почти все племена Туркмен, от Иомудов у Каспийского моря и Гокланов за Атреком, до Текинцев-Ахала и Мерва, до Кара-Туркменов Кара-Кума и Эрзари Аму-Дарьинских берегов.

С другой стороны, по этим гладким рельсам с неудержимою быстротой покатались и ворвались в сердце Азии не только товары Европы, но и европейские обычаи, европейские взгляды, европейские знания.

Я никогда не был сторонником завоевания и присоединений к России азиатских стран. Не раз выступал я в печати со словом осуждения этой политики, с точки зрения собственно русских интересов. Но если уже нам суждено историей нести тяжелый крест цивилизования полудиких азиатских племен, если в судьбах нашего народа предначертано ему водворять своим потом и кровью мир и порядок в странах вечного волнения и насилий, то нужно признать, что величайшею из наших побед над разбойничьею Азией, величайшим завоеванием нашим в странах далекого Турана, — была эта железная цепь в полторы тысячи верст, которою мы привязали Азию к Европе. Поразительное впечатление произвела постройка железной дороги на туземцев Средней Азии.

Можно сказать, только с этой минуты покоренные нами народы Азии поняли, что все для них кончено, что старое никогда уже не вернется, что на шею их надет железный ошейник, которого они не в силах будут снять ни при каких условиях. Эта исполинская работа, возбуждавшая при начале своем искренние насмешки туземцев, твердо веривших в ее невозможность и предсказывавших ее плачевный конец, потрясла этих детей природы изумлением и ужасом.

Что после этого оставалось невозможным для Русского?

Народ, который на своем огненном шайтане переносится, как на крыльях птицы, через необозримую вековую пустыню, через непроходимые безводные пески, не нуждаясь ни в колодцах Аллаха, ни в молитвах дервишей, — чего не победит он и перед чем остановится?

Постройка Закаспийской железной дороги была таким наглядным подвигом русской силы, бесстрашия, мудрости, пред [491] которым побледнела в воображении восточного человека слава всяких Тамерланов и Искандеров.

Она вместе с тем открыла туземцам новые широкие способы к промыслам всякого рода, к мирной выгодной наживе, показала им самым осязательным и убедительным для них образом все преимущество твердого государственного порядка и цивилизованных учреждений над невежественным и необеспеченным бытом их прошлого. Пока не было железной дороги, Россия была не в силах внести в прочно установившуюся жизнь старых азиатских ханств существенно новых промышленных начал. Только рельсовый путь мог дать громадный толчок среднеазиатской торговле и зародить в промышленных центрах Азии крупные фабричные и заводские предприятия, развивающиеся теперь не по дням, а по часам.

Нужно сказать великое спасибо талантливым и настойчивым людям, самоотверженными трудами которых проложена была через недоступные пустыни эта живительная артерия, принеся в нее цивилизованную жизнь Европы.

Великое спасибо и за родную Россию, которая высоко стала в глазах народов, просвещенных и непросвещенных, свершив так просто и скоро такой подвиг Геркулеса, и за все человечество, которое в этой дороге получило незаменимое орудие для своих просветительных и миротворных задач в одном из коренных очагов дикости тьмы...

Против генерала Анненкова, энергического строителя Закаспийской железной дороги, раздавались и продолжают раздаваться много осуждающих и обвиняющих его голосов. Мы, русские люди, ведь особенно падки и особенно умелы на осуждение самих себя. Я не имею ни возможности, ни желания защищать строителя Закаспийской дороги. Я не знаю, совершены ли им какие технические ошибки при этой постройке, удовлетворительно ли представлены им отчеты по ней. Но я знаю одно, что генерал Анненков совершил великое историческое дело, сработал работу изумительную по своей колоссальности. Я знаю, что каждая страна дорожит, как своею народною славой — именами людей, отметивших себя в истории благодетельным для народа подвигом.

Постройка Закаспийской железной дороги — несомненный подвиг. Поэтому я думаю, что несправедливо применять обычный мелочной масштаб канцелярий и бухгалтерий к подобного рода [492] крупным историческим делам. Постройка Закаспийской железной дороги происходила при условиях таких исключительных, таких невообразимо тяжелых, среди таких опасностей и неожиданностей, что ее невозможно учитывать по шаблонной мерке какого-нибудь шоссе между Калугой и Москвой. Никакая смета, никакие справочные данные не в состоянии были предвидеть и оценить того, что могло случиться в действительности при работах среди безводных и безлюдных пустынь, на тысячи верст удаленных от торговых и промышленных центров, при полном отсутствии кругом гражданского порядка и безопасности, можно сказать, в вечной осаде едва покоренных степных разбойников...

Проезжая по Закаспийской дороге, я только чувствовал одно ее большое неудобство, совсем независимое от ее строителей. Мне постоянно казалось, что от самого Каспия я еду по какой-то бесконечной узкой плотине, ничем не обеспеченной, ни справа, ни слева. Направо, как говорится, сейчас же под локтем, провожает вас чуть не до самого Мерва персидская граница, налево-песчаная пустыня, доступная только кочевым разбойникам. От Мерва эта пустыня уже с обеих сторон, и узкая рельсовая лента буквально, как плотина, охвачена кругом морем песков.

Когда подумаешь, как далеко отсюда очаг русской военной силы и русского промышленного богатства, когда вспомнишь, что пути сюда из Москвы и Нижнего пересекаются и горами Кавказа, и волнами Каспия, что нет сюда сплошного пути даже из нашей Кавказской окраины, то делается как-то жутко за этот смелый начинка русской гражданственности, так далеко ворвавшейся в чуждые ей стихии. Невольно приходит в голову, что в случае серьезного пожара, который может не нынче-завтра охватить восприимчивые народы Центральной

Азии, сообщение России со своими далекими и разъединенными военными колониями Мерва, Асхабада, Чарджуй, по этому узенькому беззащитному мостику в полторы тысячи верст, вряд ли будет возможно.

Невольно приходит в голову и то, что наше наступление на Туркестан, на Индию, на Персию рельсовыми путями было бы [493] гораздо удобнее и прочнее по тем старинным историческим следам, по которым в течение веков русская народность привыкла напирать на Азию. Продолжение Оренбургской железной дороги на Ташкент, без того неизбежное в более или менее близком будущем, было бы, мне кажется, самым естественным выходом русских сил в степи и оазисы Турина. Дорога эта была бы обеспечена с северо-востока ближайшим соседством русской Сибири и новых областей степного генерал-губернаторства, Тургайской, Акмолинской, Семиреченской и прочих, уже в сильной степени обрусевших и с каждым днем привлекающих к себе все больше и больше русского элемента. Кроме того, дорога эта служила бы непосредственным продолжением торговых и военных путей из самых русских углов России и из политического и экономического центра — Москвы. Эта дорога опиралась бы на широкий и крепкий базис и была бы во всех обстоятельствах и во всякое время своею дорогой. Дальнейшая дорога из Ташкента и Кокай а в Самарканд уже теперь на очереди. Дорога из Самарканда в Мерв существует и действует. Все эти дороги, выходя из Ташкента, как своего базиса, являлись бы передовым полком русской силы среди азиатских народностей, не оторванным от главной рати ее, а тесно с нею связанным и надежно подпертым ею с тыла.

Можно сказать, что по такой сплошной Московско-Мервской дороге сама Москва ударяла бы прямо в сердце Азии, напирала бы всею присущею ей мощью на враждебные нам азиатские государства и народности.

Торговое чутье восточного человека поняло это преимущество сплошной связи азиатского центра с центром России, и, несмотря на всю выгодность железнодорожных путей, жители Средней Азии и Закаспийского края продолжают привозить к себе московские и нижегородские товары и отвозить в Россию свой хлопок и шелк гужом на верблюдах через Оренбургские степи с большою охотой, чем через Закаспийскую железную дорогу и каспийские пароходы Меркурия.

Нам кажется, что Закаспийская железная дорога, задуманная и осуществленная единственно в целях завоевания туркменских оазисов и нравственного влияния на Персию, осталась отчасти при этих своих специальных задачах и даже с [494] дальнейшим протяжением своим к Самарканду не могла достигнуть того военно-политического и торгового значения, которое несомненно имела бы за собою Оренбургско-Мервская линия.

С детскою радостью увидели мы наконец зеленую долину древнего Оксуса и ощутили освежающее веяние его далеких еще волн. Как матросы Колумба, потерявшие надежду когда — нибудь выбраться из синей глади океана, — мы готовы были крикнуть в восторге «земля, земля!» Однообразные пучины песчаного океана оставались за нами, и вокруг нас начинали стелиться плодоносные поля и тенистые сады Туркмен Эрзари,

заселивших оба побережья Аму-Дарьи на границе Бухарского ханства с пустыней. Туркмены Эрзари больше других подпали влиянию оседлого населения Бухары и разбойничают меньше других, во всяком случае гораздо меньше Мервцев, этих недавних разбойников из разбойников.

В садах и аулах своих Эрзари, как и все Туркмены, живут только весной и летом; на зиму они уходят в пески, где разбивают свои кочевья по близости каких-нибудь колодцев в защищенных от ветра котловинах. Зима здесь малоснежна, почти бесснежна. Близь гор и рек, на глинистых вязких почвах, жить в кибитке зимой в сезоны дождей слишком сыро и грязно, а на песке сухо, чисто и здорово. Кроме того, на горах снег слишком глубоко заваливает подножный корм для скота. Верблюды, овца, бык, — не в силах бывают докопаться копытом до прошлогодней травы, как это они легко делают в открытых песчаных равнинах, или совсем голых, или чуть прикрытых снежком, хотя трава на них, конечно, скуднее и тоще, чем в плодородных оазисах у гор. Да в песках к тому же значительно теплее, чем на берегу реки или у гор, потому что пески хорошо нагреваются даже и зимним солнцем. Лошадь свою Туркмен никогда не выпускает на пастбище. Он воспитывает ее заботливо, как Англичанин своих расовых коней, увязывает ее всякими одеялами и кормит посевным сеном — юрунджой, которое одно он только и сберегает ради ее на зиму. Вообще меня поразило сходство туркменского воспитания лошади с известными приемами в этом деле Англичан. Как [495] Англичанин, Туркмен прежде всего заставляет выпотеть своего коня, и еще жеребенком задает ему страшные гонки.

Пока лошадь пьет жадно после таких гонок, Туркмен считает, что она еще жирна, что ее нужно гонять больше. Корм ей дается тоже с большим выбором, сухой и в очень умеренных количествах. За то и результаты этого спартанского воспитания, этого превращения лошади в сухого поджарого бегуна, не ведающего усталости, — по истине изумительны! Хорошая туркменская лошадь может делать по 600 английских миль, то есть по 1.000 верст, в семь и даже шесть дней; на перегонках своих Туркмены сплошь да рядом скачут без остановки 20-25 миль, то есть 30 и 40 верст, и только такие неустойчивые сильные скакуны получают награду и славу и ценятся как сокровище Туркменами. Хорошего коня Туркмен не продаст ни за какие деньги, и это вполне понятно, потому что вся жизнь и богатство Туркмена — в его коне; налететь неожиданным вихрем на какой-нибудь бухарский или персидский кишлак и умчаться в пески награбленную добычу, так чтобы никакая погоня не могла настигнуть его, — вот недавние еще идеалы Туркмена и его единственный хозяйственный промысел. Понятно, что вся участь его зависела от быстроты и силы коня; понятно, что он и ухаживал за ним, как за любимым ребенком.

Недавно еще путешественники могли слышать от Туркмен такую наивную оценку своих лошадей: «вот эту лошадь я купил за трех Персиян и одного мальчика, а эту за двух девушек».

Такая живая монета, можно сказать, на днях еще была среди туркменских разбойников гораздо больше в ходу, чем всякие тенги и тиллы.

Меня озадачил общий обычай Туркмен кастрировать своих прекрасных коней, что так мало вязалось в моих представлениях об азиатских наездниках. Но и эта жестокая операция — тоже делается ради легкости и быстроты бега, стало быть, ради наживы и спасения своей шкуры.

Плодородная береговая низина, заселенная племенем Эрзари, тянется на несколько верст поперек. Поля их обработаны необыкновенно тщательно; некоторые отлично укатаны; всякое [496] поле обнесено глиняным заборчиком и обсажено шелковичными деревьями; везде глубокие арыки, тоже среди аллей деревьев; всходы пшеницы, джугары, люцерны (юрунджи) превосходные. Чистая Бельгия или Саксония, а уж никак не Туркмения! За то пахут на быках обычными первобытными деревянными плугами, которые видишь здесь по всему Востоку и которыми, без сомнения, еще Церера пахала Грецию. Аулы Эрзари — это ряды укреплений своего рода. Четырехугольные пирамиды из битой глины с плоским верхом, с одною маленькою дверочкой и одним еще меньшим окошечком — вот обычные дома туркменской деревни. Более богатые обнесены высокими стенами с круглыми зубцами, с конусообразными столбами вместо башен, искусно сложенными из глины. Кладка стен идет тонкими слоями, которым дают постепенно высыхать и осесть, что придает стенам красивый рубчатый узор.

Поезд наш столкнул с полотна в воду глубокого арыка зазевавшегося юного ослика и торжественно въехал в городок Чарджуй.

Собственно бухарский город Чарджуй направо от дороги, верстах в трех от нее. Отсюда хорошо видны нам глиняные стены и глиняные башни Чарджуйской крепости, — этой пограничной твердыни Бухарского ханства, достаточно грозной для каких-нибудь Туркмен или Афганцев. Чарджуйский бек — один из родственников эмира, владетельная особа своего рода, а Чарджуй — один из самых значительных по богатству и торговле городов Бухары.

Русский Чарджуй тоже на Бухарской земле, и мы, так сказать, только гости здесь. Эмир не мешает Русским строиться здесь и торговать, и держать свои войска, которые прежде всего охраняют на русский счет безопасность его собственных владений. Войска здесь порядочно: туркестанский баталион тысячного состава, артиллерийская батарея, взвод казаков. Вместе с торгующим людом и служащими на железной дороге в русском Чарджуе наберется теперь тысячи три Русского народа, и с каждым днем он прибывает, потому что выгодное торговое положение Чарджуя на переправе через Аму-Дарью и на перепутьи железных дорог привлекает к нему предприимчивых людей. Нет сомнения, что в скором будущем русский Чарджуй тоже разрастется в большой город, наполнится фабриками и складами товаров. Для торговли с [497] Афганистаном и Персией он по своему положению много удобнее Бухары и Самарканда. Хлопкоочистительные, а тем более бумагопрядильные заводы нигде не были бы так у места, как в Чарджуе.

Русский городок глядит оживленно и весело. Очень порядочная православная церковь, хорошенькие домики в зеленых садах, везде цветущие белые акации, магазины, движение. Кирпичные заводы со своими гигантскими горнами окружают город, как ряд неприступных фортов. Одно число этих заводов уже красноречиво говорит о быстром росте этого на днях только возникшего поселка, потребляющего теперь такую массу строительных материалов.

В Чарджуе есть еще особый род жителей — Уральцы. Они расселились по берегам Аму-Дарьи, на землях Туркмен и Сартов, платя им арендную плату и усердно занимаясь рыболовством, которого не знают хорошо ни Сарты, ни Туркмены. Аму-Дарья кишит рыбой и высылают во множестве в Россию икру, осетров, стерлядей и всякую вообще красную рыбу. Фунт только что вылитой икры на чарджуйском базаре стоит от 80 коп. до 1 рубля и 1 руб. 20 коп. Уральцы обыкновенно дожидаются пассажиров с коробками свежей икры и на перебой снабжают их ими. Эти Уральцы — ссыльные своего рода. Они не захотели подчиниться новому войсковому уставу и были разосланы во все углы Туркестана, на Аральское море, на Сыр-Дарью, на Аму-Дарью. Везде они принялись за свое любимое привычное ремесло, и скоро овладели местным рыболовством, в котором не может быть им соперника.

В прохладной столовой вокзала нас накормили до сладости свежее аму-дарьинское севрюгой и, что главное всего, напоили отличным русским квасом, которому нет цены в этом, туркменском пекле, а там опять пришлось лезть в пыльные и душные ящики вагонов — переезжать Аму-Дарью. Любители природы обыкновенно пересаживаются для этой переправы в особый вагон-клетку впереди поезда, и уже оттуда безо всяких препятствий любуются широкими перспективами исторической реки и знаменитым железно-дорожным мостом.

Бесконечный ряд столбов, переплетенных друг с другом в гигантскую плетеницу, и бесконечная тесьма [498] покрывающих их досок, целая деревянная дорога в три версты длины, — прямо, как стрела, вонзается поперек течения в широкую скатерть вод и уходит из ваших глаз, словно тонет где-то там в туманах дали. Кажется, и поезд наш едет по ней как жертва в пасть чудовища прямо в эту охватившую нас кругом пучину. Делается немножко жутко на душе, когда колоссальная железная стоножка поезда тяжело влезает на зыбкие устои моста и медленно переползает на ту сторону, чуть-чуть пошатываясь вместе с мостом и поскрипывая во всех своих суставах, словно охая от страха...

Древний Оксус широк, как море. Бурая стремнина его, вся в курчавых завитках от невидимых глазу водоворотов, бесшумно льется вниз сплошной многоверстной скатертью: песчаные мели, словно лысины черепа, желтеют там и сям сквозь тонкий слой бегущих вод. Аму-Дарья очень своенравна. Один год русло ее под самым Чарджуем, в другой год уходит за две версты от него. Теперь вода ушла к тому берегу, и вблизи Чарджуя остались только ее затоны, покрытые частыми мелями, перерезанные рукавами. Главное русло Оксуса особенно быстро и особенно мутно. Железнодорожный поезд перебирался через него еще тише, чем через прибрежные разливы, а деревянный мост вздрагивал и скрипел еще сильнее... Ему очевидно достается не мало от этих стремнин варварской реки, катящих в своих глинистых волнах дубы и камни из далеких горных дебрей.

Недаром уже сносило один раз этот мост разливами реки. Туркмены и Бухарцы пророчили нам позорную неудачу, когда генерал Анненков задумал строить деревянный мост через их непобедимый Джейгун.

Если сам мудрый Тимур-Ленг, побеждавший все и всех и смело перекидывавший каменные своды через волны многих рек, не посмел возложить оков на великую реку, то как же могут устоять против нее жалкие бревнушки неверных московов?

Туземцы, собравшиеся толпами по обоим берегам реки, глазам своим не верили, когда железнодорожный поезд, расцвеченный флагами, с торжественною музыкой, при громе пушек и барабанов, переехал вдруг по этим деревянным дощечкам через пучины бурного Джейгуна, разделявшего их так долго на два разобщенные мира. [499]

До постройки железнодорожного моста переправа через Аму-Дарью была не безопасна и не легка. Если уже не прибегали к способу Александра Македонского и не переплывали великой реки лежа на бурдюках, то все-таки нужно было нанимать большие барки и тащить их лошадьми, чтобы стремнина реки не унесла судно вместе с людьми и товарами вниз по течению. Англичанин Бёрнс, проехавший в Бухару из Индии в начале тридцатых годов нашего столетия, переправился таким именно образом. К каждому концу судна привязали по паре и по две пары лошадей, взнуздали их возжами, как будто они были запряжены в колесницу, и Туркмен — погонщик, стоя в судне, правил ими и погонял их, чтоб они поскорее плыли к тому месту, где было удобно высадиться.

Что должна была стоять такая переправа для целых стад овец, для табунов лошадей, для нагруженных товарами верблюдов, — можно себе легко представить; я не говорю уже об остановках и потере времени.

В «Караван-Записках» Кайдалова, ездившего в 1824-25 годах по поручению нашего правительства в Туркестан, приведен один такой пример. За перевозку через Сыр-Дарью на другой берег караван Кайдалова должен был заплатить Киргизам-лодочникам, владельцам огромных каюков, сделанных из тутового дерева, больше двух тысяч рублей, да Киргизы, сопровождавшие караван, отдали, кроме того, за свой скот тем же счастливым Харонам четыреста баранов.

Древний Оксус не только широк, но и протянулся в длину от горизонта до горизонта. Его изгибы и плесы, освещенные вечеряющим солнцем, синеют и сверкают куда только достигает глаз. Везде песчаные лысины, острова, плавни, везде курчавая зелень аулов, провожающих сплошную лентой, хотя и в некотором почтительном расстоянии, его берега. Чем-то заманчиво таинственным, словно распахнутые ворота в неведомое царство света и неги, смотрит эта залитая оранжевыми огнями даль, в ослепительном блеске которой исчезает на пределах горизонта последнее видное нам колено реки. В пустынном величии несет эта река массы своих вод из далеких ледников Болор-Тага и Гинду-Куша в [500] соленую чашу Арала. Кочевник словно не смеет доверить себя ее суровым стремнинам, и редко-редко прорежет где-нибудь широкий простор ее разлива одинокое, робко пробирающееся судно. Только около новорожденного гнезда русской

силы, на пристань Чарджуй, — несколько драг терпеливо расчищают своими крошечными ковшиками постоянно заносимое русло, да дымится пониже железнодорожного моста совсем не подходящий к этим азиатским пейзажам русский военный пароход. Он держит рейсы вниз по реке между Чарджуем и Петро-Александровском, а другой такой же пароход ходит между Чарджуем и Карки, вверх по реке.

Рейсы эти из учтивости называются срочными; но когда мы с женой осведомились подробнее об этих сроках, собираясь проехаться ненадолго в Хиву, то собеседник наш, местный житель и местный инженер, — громко расхохотался.

— Как? Вы в самом деле думаете, что здесь у нас может существовать правильное пароходство как на Волге или на Черном Море? изумлялся он. — В четверг, дескать, в 8 часов утра приходит, в 9 1/2 отходит... Как бы не так!.. Тут, батюшка, у нас река всему голова... Она над нами умничает, а не мы над нею. Выпадут большие дожди в горах, не будет знойных дней, ну и прибавится водицы, пароходы и пролезут себе как-нибудь... А постоит недельку-другую сушь да жара, нанесет с пустыни песков ветер горячий, — вот вам и мели на каждом шагу. Не столько вперед едет пароход, сколько с мелей стаскивается, да глубину щупает. Ведь тут мели не постоянные, а переносные: сегодня здесь, а завтра там, и фарватер такой же, вчера хорошо проехал, а сегодня прямо носом в песок врезался; разыскивай его как знаешь! Никакие карты и лоции не помогут. Вот теперь апрель, весна кажется, а воды немного. Видите какие черепа из-под воды светятся! Как тут пароходу не наткнуться, а уж особенно ночью. Через месяц совсем другое дело: вода сильно пожирнеет, тогда и плавать будет отлично.

— Через месяц, я думаю, еще меньше воды будет; развал лета, зной! заметил я.

— Ну да, это по вашему, по-русийскому, а у нас тут свои законы. У нас разлив вод не весной, а в середине лета бывает. Когда пожарит солнце хорошенько снега вечные, да ледники на больших горах, тогда и поддает нам оттуда [501] водицы... Тогда и начинается у нас настоящее судоходство. А все-таки и тогда скоро в Хиву не съездите. Вниз-то, положим, живым духом донесет, дня в три, а оттуда, в гору, страсть как тяжело! Поглядите-ка какой столб воды сверху прет, навстречу ему двигаться не шутка? Как ни вертите, а туда и сюда недельки три пройдет, да, пожалуй, еще с хвостиком. Знаете, я на каюке ездил с Туркменами, так, право, приятнее. Но крайней мере дешево, да и нравы туземные отлично узнаешь. А на пароходе ничуть не выйдет скорее, если все мели своими боками пересчитывать. Потом вы должны положить еще на самую Хиву несколько дней. Ведь водой идут только до Петро-Александровска, до крепости нашей русской. Ее нарочно на берегу поставили, чтобы в роде караульного над Хивой наблюдала; чуть там что, — тут у нас и готовы гостинцы! А до Хивы от Петро-Александровска еще верст с 60 будет. Арбу нужно нанимать, или верблюда, лошадь... Туда, да назад, да Хиву осмотреть, вот и сочтите!...

— А в Хиве-то самой много интересного?

— Ей Богу ровно ничего! Не верьте вы, пожалуста, никаким туристам. Все врут! Ну аул огромный, и ничего больше; совсем на город даже не похож. Мазанки глиняные, да базары. Есть, положим, мечети две

порядочные, ну, дворец там ханский, урда по-ихнему, да все это во сто раз лучше и интереснее в Бухаре увидите и в Самарканде... И базары, и все... А халатники все те же, и товары те же, и жизнь все та же... Уж на что хороши Бухарцы, а и те считают Хивинцев варварами своего рода. Уверяют, что они и обрядов своих мусульманских не знают и не учатся ничему... А по моему они все-таки лучше этих ханжей Бухарцев, грубее, правда, но за то искреннее, честнее, гостеприимнее. Бухарец прелукавая бестия!

Вверх по реке тоже поднимался в это время пароход, только что, повидимому, отчаливший от берега. Он шел в Карки с грузом для его гарнизона.

Карки — последний город и последнее укрепление Бухары на границе с Афганистаном. Там постоянно стоит наш военный отряд, хотя земля и Бухарская. Пароход полз в гору [502] медленно, как каракатица, то и дело виляя вправо и влево, и поминутно останавливался в раздумьи, словно слепой, ощупывающий палкой свою дорогу. Сейчас видно, что не скоро добраться ему до далекого пограничного городка. Недавно поехал было на нем, как мне рассказывали, один из военных начальников, которому необходимо было побывать в Карках. Он так измучился этим рачьим шествием на парах, что не выдержал и с половины пути высадился на берег; оттуда уже он добрался кое-как до Карки песками, то на переменных лошадях, то на верблюдах. И все-таки приехал значительно раньше, чем привалил злополучный пароход.

Может быть, все это и имеет свои законные оправдания, но, признаюсь, меня возмутило такое слабосилие наше перед самыми обыкновенными явлениями природы. Не берусь судить, чем и как следовало бы поправить дело, нужно ли бы было завести здесь какие-нибудь особенные плоскодонные пароходы или оградить чем-нибудь фарватер реки от наносов, но твердо знаю одно, что заберись сюда завтра Англичане, Французы или Немцы, — у них с того же дня исправно стали бы ходить здесь многочисленные пароходы, возились бы товары, разъезжала бы всякая публика, туземная и наезжая, выстроились бы по берегам пристани, гостиницы, фабрики, и посещение туристом какой-нибудь Хивы сделалось бы самым не долгим и простым делом. Ведь уже ходят серьезные слухи, что Англичане заводят пароходство на той же самой Аму-Дарье в мелких ханствах, подвластных Афганистану, следовательно в тех ее верхних частях, которые гораздо менее удобны для плавания, гораздо богаче камнями, гораздо беднее водой, чем находящееся в нашей зависимости нижнее течение Оксуса; ведь, наконец, рядом же с нами, в Персии, за которою мы ухаживали столько веков, те же Англичане сумели открыть на днях выгодное пароходство по реке Перуну, считавшейся до сих пор недоступною для судов через свои пороги?

Аму-Дарья впадает теперь в Аральское море, но еще в XIII столетии она вливалась прямо в Каспийское. Есть, правда, люди, которые это оспаривают и которые доказывают даже невозможность течения Аму-Дарьи в Каспийское море. По [503] измерению их уровень так называемого старого русла Аму-Дарьи во многих местах оказывается выше уровня теперешнего нижнего течения ее, стало быть, Аму-Дарья должна была течь

на гору, а не под гору. Но скептицизм этот совершенно праздный. Берега Каспийского моря повышаются и понижаются чуть не на глазах людей; осязательное доказательство этому я только что видел в затопленном морем караван-сарая Бакинской гавани.

Туркменский берег тоже мог подняться в течение веков, и кто знает, не было ли именно это поднятие одною из главных причин того, что древний Оксус не мог уже более катить своих волн до Каспия, и Хивинские ханы должны были отвести его русло в ближайшее к нему Аральское море, куда, без сомнения, всегда впадал один или несколько рукавов Оксуса. Во всяком случае отвод Аму-Дарьи в Аральское море не только есть историческое событие, подтверждаемое туземными летописями и преданиями всех народов, имевших какое-нибудь дело с пародами Оксуса, но еще и неоспоримый факт современной географии. Старое русло Аму-Дарьи также известно всякому Туркмену, Хивинцу и Киргизу азиатских степей, как и сама живая река Аму-Дарья. Русло это тянется на целых 600 верст от низовий Аму-Дарьи, у Айбугирского залива Аральского моря до самого Балаханского залива Каспийского моря, составляющего более глубокий заворот Красноводской бухты. Русло это вполне носит форму речного ложа, с обычными обрывистыми берегами и изгибами, и по всему протяжению своему еще сохранило, в виде отдельно разбросанных мочегин, колодцев, озерков, — следы своих былых вод.

До сих пор по старой памяти многие аулы Туркмен зимой и летом кочуют вдоль опустевших берегов бывшей реки, пользуясь кое-где уцелевшею водою.

Старое ложе Оксуса служит вместе с тем самою надежною дорогой из Хивы к Каспию, и по рассказам туземцев, на ней можно иметь пресную воду на расстоянии каждого перехода. В летнее же половодье или когда Аму-Дарья случайно прорывает плотины Куня-Ургенча, старое русло Оксуса опять обращается в бурную реку и несет свои волны на пространстве целых 150 верст до озера Сары-Камыша, из бассейна которого они уже не в силах двинуться дальше. [504]

Еще при Петре Великом посол его князь Бекович-Черкасский в течение нескольких дней ехал из Хивы к Красноводскому заливу старым руслом Аму-Дарьи, видел собственными глазами земляной вал в пять верст длины, которым Хивинцы обратили в Аральское море воды Оксуса, а по обоим берегам старого русла встречал развалины прежних жилищ и следы проведенных к ним каналов. Плотины, задерживающие воды Аму-Дарьи, и до сих пор могут быть видимы путешественниками около хивинского города Куня-Ургенча.

При Петре Первом вообще не сомневались в том, что Аму-Дарья действительно впадала прежде в Каспийское море, так что великий царь, давая поручение Бековичу основать первое русское укрепление на восточном берегу Каспийского моря, самым определенным образом приказывал построить эту крепость «над гаваном, где было устье Аму-Дарьи реки».

В то время даже объясняли себе очень просто злохитрый поступок Хивинцев, вернувших течение Аму-Дарьи от Каспия в Арал. В Аму-Дарье (как и в Сыр-Дарье) почему-то предполагался золотой песок, и Хивинцам, конечно, не желательно было, чтобы сокровище их уносилось рекой в чужие страны. Петр посылал

разыскивать золотые пески на Сыр-Дарью, но в Аму-Дарье он, повидимому, оценил сокровище другого рода, не пески, а воды ее. Он понял, что Аму-Дарья — самая естественная и единственно удобная дорога к богатствам Индии, и потому, как я говорил уже раньше, его соблазнил смелый план — опять вернуть устье Оксуса в Красноводский залив.

Что поворот этот задумывался Петром ни для чего другого, как ради торговли с Индией, в этом несомненно убеждают подлинные выражения собственноручной его инструкции Бековичу, о которой я уже говорил выше. Под видом «купчин», который бы «изъехал» Аму-Дарью до самых пределов Индии, и оттуда бы отправился в эту страну, Петр назначил «из морских офицеров поручика Кожина», которому поручил: «разведать в Индии о пряных зельях и других товарах и как для сего дела, так и для отпуска товаров, приказал придать ему, Кожану, двух часовых добрых людей из купцов, и чтоб они были не стары».

Но в то время, как Русские еще гораздо ранее Петра [505] хорошо знали и об Аральском море, и о Сыр-Дарье, и об Аму-Дарье, которые им приходилось видеть собственными глазами, в то время, как в Книге Большого Чертежа можно было найти самые точные указания о течении этих рек, — ученые Европейцы, не допускавшие мысли, чтоб у русских варваров можно было получить верные научные сведения о соседних с ними странах, продолжали наивно пребывать в нелепых географических представлениях о Центральной Азии, заимствованных еще из Страбона и Арриана, и очень мало исправленных довольно смутными рассказами средневековых путешественников, в роде Марко Поло и Плано Карпини.

Презабавно рассматривать карту Центральной Азии, приложенную к известной книге Де-Бруина (*Voyage de Corneille le Brun par la Moscovie en Perse etc 3 volumes, Amsterdam, 1718 года*). Де-Бруин приехал в Россию в 1701 году через Архангельск, еще до построения Петербурга, и отправился в Персию Волгой и Каспийским морем. На его карте Азии Туркестан, можно сказать, совсем пропущен. Его Irken (Яркенд) находится чуть не на берегу Каспийского моря, Кабул стоит почти у истоков Енисея, Аму-Дарья течет прямо в Каспий, никакого Аральского моря в помине нет!

Можно ли после этого удивляться, что Аральского моря не знал ни один из географов классического мира, ни Страбон, ни Птолемей, и что все древние писатели считали Яксарт, то есть Сыр-Дарью, и Оксус, то есть Аму-Дарью впадающими в Гирканское (то есть Каспийское) море. Относительно Аму-Дарьи они были, вероятно, правы, но впадение Сыр-Дарьи в Каспий доказать нет никакой возможности, разве только предположить, что в древности Каспий и Арал составляли одно озеро, и что разделяющая их теперь песчаная возвышенность Усть-Урта поднялась уже впоследствии, стало быть, на памяти людей, для чего опять нет ни малейшего вероятия.

Как бы то ни было, но мы с женой искренно пожалели, что не могли отправиться из Чарджуйа вниз по историческому Оксусу посетить пресловутую Хиву — древний Ховарезм, удержавший теперь в своем владении только одно низовье Оксуса, разделенное на множество рукавов еще верст за триста до впадения

в Аральское море. В сущности вовсе нет никакой [506] Аму-Дарьи, впадающей в Аральское море, потому что каждый рукав есть большая река, имеющая свое самостоятельное название. В числе их есть и Янги-Су, и Улькун-Дарья, и Куван-Джарма, и Талдык, и много других имен, по Аму-Дарьи никакой нет.

Хива лежит, впрочем, ни на самой Аму-Дарье, ни на ее рукавах, а верст шестьдесят к югу от реки, среди сети бесчисленных арыков, на рубеже пустыни, как и подобает ханству кочевников и степных грабителей.

Теперь это уже бессильное гнездо присмиривших разбойников; а было время, когда Ховарезм играл великую роль в судьбах Центральной Азии.

Еще при походах Александра Македонского упоминается Аррианом и Квинтом Курцием имя Ховарезма; между прочим, «Хоразмский владелец Фратаферн, которого земли смежны с Массагетами и Дагами».

С XI века по р. Хр. Ховарезм властвует почти надо всеми странами Турина и Ирана. Алла-Эдин, султан Ховарезма, овладел китайским Туркестаном, Самаркандом, Бухарой, Балхом, Хорасаном, Мазандераном, и готов был покорить самый халифат Багдадский, еслиб этого священного главу правоверных не спасли глубокие горные снега и вольнолюбивые Курды. Надменный своими победами, Алла-Эдин провозгласил себя «тенью Бога на земле», а мать свою «обладательницей мира». Но Чингис, великий разрушитель восточных царств, сокрушил и победоносных султанов Ховарезма.

Цивилизация Европы вторглась теперь вместе с русской силой в старое царство азиатского рабства, деспотизма и невежества; река Дариев Персидских, Бактриан и Согдов — перепоясана железнодорожным мостом и носит пароходы на своих пустынных волнах.

Но, несмотря на эти рельсы и трубы, здесь еще везде кругом всемошно царит старая дичь, старая азиатчина. Словно в насмешку над нашими усилиями, вон попрежнему рядом с пароходом идет первобытная переправа с бухарской стороны на туркменскую целых верблюжьих караванов, целых обозов арб, в больших туземных каюках... [507]

Ветхозаветные корабли пустыни продолжают еще перевозить товары на своих горбах, как во дни Моисея, а эти чалмы, эти мантии, эти лица — все это живьем выхвачено со страниц Библии... Цивилизация Европы пробирается здесь еще чуть заметною струйкой, как та узенькая черная ленточка рельсов, что прорезает собою сплошные пески туркменской пустыни...

Бесконечный мост наконец кончился. Вместо водной глади кругом стелятся плавни и заросли бухарского берега Аму-Дарьи... Вот и Фараб, первая станция правого берега. Переезд моста равняется целому перегону, и поезд отдыхает после него, как после далекого пути. Теперь конец Туркмении, конец пустыням, Оксус лег между нами и ими, теперь мы уже в Трансоксане, в стране древних Согдов, в славном царстве Тамерлана... Теперь ждет нас впереди священная для правоверных Бухара, — «Бухара-эль-Шериф»...

Е. Марков.

Текст воспроизведен по изданию: В Туркмении (Путевые очерки) // Русское обозрение. № 6. 1892